

Фаулз

Джон

Башня
из черного дерева



Annotation

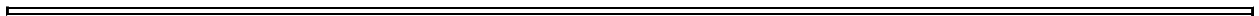
Эта книга о встрече людей, живущих в абсолютно разных измерениях. Жизнь молодого художника и искусствоведа Дэвида Уильямса, приехавшего в гости к старому и именитому художнику Генри Бресли, состоит из условностей и теоретических измышлений. Это отражается и в его творчестве: картины Дэвида лишены подлинной глубины и очарования. Для Генри же напротив, не существует никаких авторитетов и правил. Есть только всепоглощающее «я», что и позволяет создавать ему яркие и самобытные полотна. Башней из черного дерева, называет Генри то потаенное место, где притаился дух человека, подчинившего свою жизнь условностям, излишнему следованию моды и, как следствие, навсегда утратившим самого себя.

- [Джон Фаулз](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)



Джон Фаулз

БАШНЯ ИЗ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА

*...Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felons passages
Et maint peril et maint destroit
Tant qu'il vint au santier tot droit...*

Chretien de Troyes, «Yvain»¹

Дэвид приехал в Котминэ в среду во второй половине дня, через сутки после того, как причалил в Шербуре и, нигде не задерживаясь, повел машину в Авранш, где заночевал. Это позволило ему оставшуюся часть пути проехать при свете дня, полюбоваться чарующей, как сновидение, картиной шпилевидных скал вдоль отдаленных берегов Мон-сен-Мишель, побродить по улицам Сен-Мало и Динана; потом он свернул на юг и выбрался на шоссе, прорезавшее живописную сельскую местность. Стояла чудесная сентябрьская погода. Его сразу пленили мирные пейзажи с ухоженными фруктовыми садами и полями — задумчивыми и уставшими от бремени урожая. Дважды он останавливался и наносил на бумагу особенно приятные сочетания красок — параллельные полосы акварели разных тонов и оттенков, — пометчая своим четким почерком масштаб. Хотя в этих его пометках и содержались некоторые указания на внешнее сходство с натурой (одна цветная полоска — поле, другая — освещенная солнцем стена, третья — отдаленный холм), он ничего не рисовал. Лишь записывал число, месяц, время дня и погоду, потом ехал дальше.

Он испытывал легкие угрызения совести от того, что так приятно проводит время один, без Бет, после бурного объяснения накануне отъезда; однако прелестная погода, новые впечатления и, конечно, беспокойная и вместе радостная мысль о цели путешествия, к которой он приближался, — все создавало приятную иллюзию холостяцкой свободы. Последние мили пути, пролежавшие по Пемпонскому лесу — одному из нетронутых еще обширных массивов Бретани, были поистине чарующи: прямые, зеленые и тенистые дороги с редкими солнечными просветами в узких просеках,

рассекавших бесконечные заросли деревьев. Его представление о крае, где старик прожил последние годы и где обрел наибольшую славу, сразу приняло конкретные очертания. Сколько ни читай, каково бы ни было воображение, ничто не может заменить то, что видишь глазами. Еще не добравшись до цели, Дэвид уже знал, что ехал сюда не напрасно.

Скоро он свернул на совсем узенькую и пустынную лесную дорогу — *voie communale*² и, проехав около мили, увидел искомую надпись: *Manoir de Coetminais. Chemin privé*.³ Далее путь преграждали белые ворота, которые ему пришлось самому открыть и закрыть. Еще с полмили — и снова ворота, как раз в том месте, где поредевший лес открывал вид на залитый солнцем запущенный сад. На перекладине ворот — деревянная табличка с надписью. Дэвид улыбнулся — под французскими словами «*Chien mechant*»⁴ стояли английские: «Без предварительной договоренности посетителям въезд строго запрещен». Словно в подтверждение серьезности этой надписи на воротах изнутри висел замок. Похоже было, что его приезда никто и не ждал. На мгновение он растерялся: чего доброго, старый хрыч вообще забыл о своем приглашении. Дэвид, отойдя в холодок, смотрел на освещенные солнцем ворота. Нет, не мог он забыть — ведь еще на прошлой неделе Дэвид послал ему записку с напоминанием о предстоящем приезде и выражением благодарности. Сзади раздалась птичья трель, похожая на неумелую игру на оловянной дудке. Он оглянулся, но птицы не увидел. Птица явно не английская, подумал Дэвид. Но сам-то он англичанин, и не к лицу ему бояться какой-то собаки. Надо действовать. Не может же он... Дэвид вернулся к машине, заглушил двигатель, запер дверцы и, подойдя снова к воротам, перелез на другую сторону.

Он шел по дорожке среди старых яблонь, усыпанных плодами красных сидровых сортов. Кругом была тишина, ничто не говорило о присутствии собаки. На солнечной поляне, среди моря гигантских дубов и буков, одиноко стояла *maison*. Не совсем то, что Дэвид ожидал увидеть. Вероятно, потому, что слабо владел французским и, если не считать Парижа, почти совсем не знал Франции. Иначе не перевел бы это слово буквально, как английское «замок». В действительности же это строение напоминало скорее жилище зажиточного фермера; ничего особенно аристократического в его фасаде не было: светлая буро-желтая штукатурка, пересеченная крест-накрест редкими рыжеватыми планками, и темно-коричневые ставни. К восточной стороне дома примыкала небольшая прямоугольная пристройка, сооруженная, по всей видимости, в более позднее время. И все-таки было в

этом доме что-то привлекательное. Старинное, без архитектурных излишеств, приветливое здание производило внушительное впечатление. Дело лишь в том, что Дэвид предполагал увидеть нечто более величественное.

Двор перед домом с южной стороны был устлан гравием. У основания стены росли герань и две старые шток-розы, на крыше сидели белые голуби. Ставни на окнах были закрыты, дом спал, но парадная дверь, увенчанная гербом на каменном щите (надпись на нем стерлась от времени), оставалась полуоткрытой. Дэвид опасливо ступил на гравий и подошел к двери. Ни дверного кольца, ни кнопки звонка не было; к счастью, не оказалось и страшной собаки. Он заглянул внутрь: холл с выложенным каменными плитами полом, дубовый стол у деревянной, старинного стиля, лестницы со стертыми и поцарапанными перилами, которая вела вверх. В глубине холла виднелась вторая — тоже открытая — дверь, а за ней — освещенный солнцем сад. Дэвид постоял в нерешительности, сознавая, что приехал раньше назначенного времени, и постучал костяшками пальцев по массивной двери. Выждав немного, решил, что стучать бесполезно, и шагнул за порог. Справа от себя он увидел длинную, как галерея, гостиную, разделенную старинными арками. Частично древние опорные колонны были, видимо, снесены, но основные остались. Черные, они выделялись на фоне белых стен с беспардонностью скелета. Во всем этом было что-то тюдоровское и гораздо более английское, чем можно было предположить, судя по фасаду. Очень приятный уголок — заставленный и в то же время просторный: старинная резная мебель, вазы с цветами, несколько кресел и два дивана; старые розовые и красные ковры и, конечно, картины... Ничего удивительного — кроме того, что можно было вот так войти и любоваться ими: Дэвид ведь знал, что у старика, помимо собственных работ, хранилась небольшая, но весьма ценная коллекция творений других художников. Имена знаменитостей, представленных здесь, уже известны из прессы: Энсор, Марке; вон тот пейзаж в дальнем конце зала, должно быть, кисти «холодного» Дерена; а над камином...

Но должен же он все-таки дать о себе знать. Дэвид прошел по каменному полу мимо лестницы в дальний конец холла и остановился у открытой двери. Перед ним простиралась обширная лужайка с клумбами, декоративными кустами и деревьями. С севера ее ограждала высокая стена, вдоль которой вытянулся ряд невидимых со стороны фасада главного здания невысоких строений, когда-то служивших фермеру конюшнями и коровниками. В центре лужайки росла катальпа с подрезанной кроной,

отчего она приобрела сходство с гигантским зеленым грибом. Под ее сенью расположились, точно собеседники, садовый стол и три плетеных кресла, а дальше лежали на траве, окутанные зноем, две обнаженные девушки. Одна из них, наполовину скрытая травой, лежала на спине и, казалось, спала. Другая — та, что поближе, — лежала на животе и, подперев подбородок руками, читала книгу. На голове у нее была широкополая соломенная шляпа с тульей, перевитой темно-красной лентой. Тела обеих девушек были очень смуглы от загара; по-видимому, они не подозревали, что всего в тридцати шагах от них стоит посторонний мужчина. Он не понимал, как они могли не услышать его машины в лесной тишине. Но ведь он приехал раньше времени, хотя сам предупреждал в письме, что будет только к вечернему чаю. Да и позвонить мог: поискал бы как следует кнопку звонка, и какой-нибудь слуга наверняка бы услышал. Несколько коротких секунд он запечатлевал в памяти мягкие очертания неподвижных женских фигур, зелень катальпы и зелень травы, густой красный цвет ленты на тулье шляпы, розовую стену вдалеке и шпалеры плодовых деревьев. Потом он повернулся и пошел обратно к входной двери: увиденное скорее позабавило его, чем смутило. Он снова вспомнил Бет: в какой восторг она бы сейчас пришла, найдя подтверждение легенде о старом фавне, предающемся порочным утехам!

У косяка, на каменном полу, он увидел то, чего не заметил сразу: небольшой бронзовый колокол. Он поднял его, взмахнул и сам же испугался, потому что раздался оглушительный, как на школьном дворе, звон, сразу нарушивший солнечный мир и тишину дома. Однако и это не возымело действия: не слышно было ни шагов наверху, ни скрипа двери в противоположном конце холла. Дэвид продолжал ждать у порога. Прошло с полминуты, и вдруг в проеме двери со стороны сада появилась девушка (Дэвид не разобрал, которая из тех двух), уже одетая. В простой белой бумажной галабийе⁵, стройная, чуть ниже среднего роста, лет двадцати с небольшим; каштановые, с золотистым отливом волосы, правильные черты лица; невозмутимый взгляд довольно больших глаз и босые ноги. По всем признакам — англичанка. Дойдя до лестницы, шагах в двадцати от него, она остановилась.

— Дэвид Уильямс?

Он виновато развел руками.

— Вы меня ждали?

— Да, — ответила она, не двигаясь с места.

— Извините, что проник сюда воровским способом. Там было заперто. Она покачала головой.

— Надо было просто потянуть. Замок. Извините, что так получилось. — Однако вид у нее был совсем не виноватый. И не растерянный. — Генри спит.

— Ради бога, не будите его. — Дэвид улыбнулся. — Я приехал немного раньше. Думал, найду вас не сразу.

Она внимательно посмотрела на него, поняв, что он рассчитывает на ее расположение.

— Он такой псих, когда ему не дают поспать днем.

Дэвид усмехнулся:

— Понимаете, я истолковал его письмо буквально: что меня здесь приютят на ночь... но если это не так...

Она посмотрела мимо него на открытую дверь, потом снова на его лицо; в ее равнодушном взгляде мелькнуло нечто похожее на вопрос.

— А ваша жена?

Он объяснил ей, что у Сэнди ветрянка, в последнюю минуту резко поднялась температура.

— Жена прилетит в Париж только в пятницу. Если дочке станет лучше. Там я ее и встречу.

Снова испытующий взгляд.

— Стало быть, показать вам комнату?

— Если вас не затруднит...

— Нисколько.

Едва заметным жестом она предложила ему следовать за собой и повернулась лицом к лестнице — такая простая, белая, неожиданно скромная, точно служанка, совсем не похожая на ту девушку, которую он видел всего минуту назад.

— Чудесная комната, — заметил он.

Она взялась за потемневшие от времени перила лестницы и, не поворачивая головы, сказала:

— Пятнадцатый век. Так говорят.

И все. Никаких вопросов, точно он — всего лишь заезжий сосед, живущий в пяти милях отсюда.

На верхней площадке она повернула направо в коридор, посреди которого лежал камышовый мат. Подойдя ко второй двери, она открыла ее, шагнула внутрь, держась за ручку, и посмотрела на Дэвида глазами хозяйки гостиницы, впускающей в номер постояльца, который уже провел здесь одну ночь. Не хватало только, чтоб она сейчас сказала, сколько причитается с него за номер.

— Ванная рядом.

— Прекрасно. Я только спущусь вниз, к машине.

— Как вам угодно.

Она закрыла дверь. В ее манере чувствовалась какая-то наигранная, чуть ли не викторианская серьезность, несмотря на галабийю. Когда они пошли по коридору к лестнице, он доброжелательно улыбнулся:

— А как вас...

— Генри зовет меня Мышь.

Наконец-то выражение ее лица изменилось, оно стало суше или чуть более вызывающим — он не мог бы сказать точно каким.

— Вы с ним давно знакомы?

— С весны.

Ему хотелось склонить ее на дружеский тон.

— Я знаю — он не в восторге от таких гостей, как я.

Она слегка пожала плечами:

— Если вы не потворствуете ему. Тогда он обычно лается.

Дэвиду было ясно, что она пытается убедить его в чем-то; очевидно, догадываясь, что он видел ее в саду, она хочет теперь показать, что умеет держать посетителей на расстоянии. Судя по всему, она заменяла здесь *patronne*⁶ и в то же время вела себя так, словно не имеет к этому дому отношения. Они сошли по лестнице, и девушка направилась к выходу в сад.

— Здесь? Через полчаса? В четыре я подниму его.

Он снова улыбнулся; слова «я подниму его» были сказаны тоном сиделки: пусть, мол, посторонние думают что хотят о человеке, которого я называю «Генри» и «он».

— Хорошо.

— Будьте *comme chez vous*⁷. Идет?

Она слегка замешкалась в гостиной, точно поняла, что была слишком холодна и высокомерна, и даже как будто застеснялась немного. На лице ее мелькнула едва заметная приветливая улыбка. Потом она опустила глаза, отвернулась и молча пошла в сад; когда она оказалась в проеме двери, ее галабийя вдруг утратила непроницаемость и взору Дэвида предстала нагая фигура. Он хотел было спросить ее о собаке, но потом решил, что девушка, должно быть, уже сама о ней подумала, и попробовал вспомнить, когда еще ему оказывали в чужом доме более холодный прием... словно он рассчитывал на слишком многое, а ведь это было совсем не так, и уж во всяком случае он никак не рассчитывал встретить эту девушку. Он понял, что законы гостеприимства давно перестали существовать для старика.

Он пошел через сад к воротам. Спасибо, что хоть про замок сказала. Замок подался сразу. Дэвид завел машину и, въехав во двор, поставил ее под каштановым деревом у фасада дома, затем вытащил чемодан, портфель и висевший на вешалке джинсовый костюм и понес в дом. Поднимаясь по лестнице, он посмотрел через открытую дверь в сад, но девушек там уже не было видно. В коридоре наверху он задержался у двух картин, которые заметил, когда проходил здесь первый раз, но не сразу вспомнил имя художника... ах, да, конечно: Максимилиен Люс. Счастливцев старик — приобрел их еще до того, как искусство превратилось в объект стяжательства, в сферу вложения капитала. Дэвид уже забыл, что встретил здесь холодный прием.

Обстановка в комнате была незамысловатой: двуспальная кровать с наивной претензией на ампир, ореховый шкаф, источенный червями; стул, старое кресло с истертой зеленой обивкой, пятнистое зеркало в золотой раме. Здесь пахло сыростью; мебель, видимо, покупали на аукционах. И вдруг, на фоне всего этого, над кроватью, — Лорансен с подписью автора. Дэвид попробовал снять картину с крючка, чтобы разглядеть на свету. Но рама оказалась привинченной к стене. Он улыбнулся и покачал головой: жаль, что Бет не увидит.

Глава лондонского издательства, придумавший эту командировку, предупреждал Дэвида: всякого, кто предпримет поездку в Котминэ, ожидают куда более серьезные препятствия, чем запертые ворота. Старик вспыльчив, не любит, когда при нем упоминают некоторые имена, груб, вздорен — следовательно, данный «великий человек» может показаться ужаснейшим старым ублюдком. А может быть и обаятельным собеседником — все зависит от того, понравится вы ему или нет. В некоторых отношениях наивен, как ребенок, добавил издатель. Не спорьте с ним об Англии и англичанах, избегайте разговоров о его пожизненном изгнании. Он не выносит, когда ему напоминают о том, что он, возможно, упустил. И наконец: он страстно желает, чтобы мы выпустили о нем книгу. Пусть Дэвид не даст себя одурачить и не верит, что этому человеку совсем наплевать на то, что о нем думают соотечественники.

Вообще-то говоря, в поездке Дэвида особой необходимости и не было. Наброски вступительной статьи у него уже были готовы, он достаточно четко представлял себе, что в ней скажет: собраны основные эссе из каталогов выставок, в первую очередь ретроспективы, устроенной в 1969 году в галерее Тейт (запоздалая оливковая ветвь от британского официального искусства), а также двух недавних выставок в Париже и

одной в Нью-Йорке; небольшая монография Майры Ливи из серии «Современные мастера» и переписка с Метью Смитом; подборка интервью, опубликованных в разных журналах. Несколько биографических подробностей остались невыясненными, но их легко было запросить и почтой. Можно, конечно, задать множество вопросов из области искусства, но старик не любил распространяться на эту тему, вероятнее всего, как подтверждает опыт прошлого, он ничего путного не скажет и ограничится желчными замечаниями или просто грубостью. И все же перспектива встречи с человеком, которому Дэвид посвятил уже немало времени и творчеством которого он, с некоторыми оговорками, искренне восхищался, радовала его: с таким человеком безусловно интересно познакомиться. Как-никак сегодня он бесспорно — один из крупнейших художников, его можно поставить не только рядом с Бэконами и Сазерлендами, но в чем-то он выше их. Среди избранных он, пожалуй, самый интересный, хотя, если спросить его самого, он сказал бы, что не имеет с этими чертовыми англичанами ничего общего.

Родился в 1896 году; студент Слейда в славный период господства там школы Стиров и Тонкса, рьяный пацифист, когда пришло время — это было в 1916 году — призыва в армию; год 1920-й застал его в Париже (с Англией он духовно порвал навсегда); лет десять, а то и больше провел в поисках — даже Россия повернулась тогда лицом к социалистическому реализму — ничьей земли между сюрреализмом и коммунизмом, после чего прошло еще с десятков лет, прежде чем Генри Бресли получил подлинное признание у себя на родине, когда произошло открытие его рисунков на темы Испанской гражданской войны, которые он сделал за пять лет второй мировой войны, живя в Уэльсе на положении «изгнанника из изгнания». Подобно большинству художников, Бресли шел намного впереди политиков. В 1942 году лондонская выставка его работ 1937–1938 годов вдруг приобрела для англичан особый смысл: теперь они уже знали, что такое война и какое безумие принимать на веру декларации международного фашизма. Более мыслящие люди понимали, что ничего особенно оригинального в его изображении испанской агонии нет — по духу своему искусство Бресли означало всего лишь возврат к Гойе. Но сила и мастерство художника, превосходное владение рисунком не подлежали сомнению. Печать была поставлена, поставлена она была — в плане личном — и на репутацию Бресли как человека с «трудным характером». К тому времени, когда он вернулся в Париж в 1946 году, легенда о его ненависти ко всему английскому и традиционно буржуазному, особенно если речь заходила об официальных взглядах на искусство или

административном вмешательстве, уже прочно утвердилась.

На протяжении последующего десятилетия не произошло ничего такого, что существенно способствовало бы росту его популярности. Тем не менее его картины начали пользоваться спросом у коллекционеров и ширился круг его влиятельных поклонников в Париже и Лондоне, хотя ему, как и всем европейским живописцам, и приходилось страдать от стремительного возвышения Нью-Йорка в качестве главного арбитра художественных ценностей. В Англии Бресли никогда не стремился играть на «черном сарказме», характерном для его испанских рисунков; тем не менее его авторитет, как и зрелость его работ, возрастал. Большая часть его знаменитых обнаженных фигур и интерьеров появилась именно в этот период; надолго погребенный гуманист начал выбиваться на поверхность, хотя, как всегда, публика больше интересовалась богемной стороной его жизни — рассказами о его попойках и женщинах, которые распространяла время от времени травившая его желтая и шовинистически настроенная часть Флит-стрита⁸. Но к концу пятидесятых годов такой образ жизни уже перестал быть сенсацией. Слухи о его греховном поведении и такие факты, как презрение к собственной родине, стали казаться забавными и даже... импонировали обывателям, склонным отождествлять серьезное творчество художника с его красочной биографией, отвергать, ссылаясь на отрезанное ухо Ван Гога, всякую попытку рассматривать искусство как высшее проявление здравого смысла, а не как слащавую мелодраму. Следует признать, однако, что Бресли и сам не слишком решительно отказывался от той роли, которую ему навязывали: если людям хотелось, чтобы их шокировали, он, как правило, шел им навстречу. Но его близкие друзья знали, что, хотя приступы эксгибиционизма повторялись, он сильно переменялся.

В 1963 году он купил в Котминэ старую тапoir и покинул свой любимый Париж. Год спустя появились иллюстрации к Рабле — последняя его чисто графическая работа; эта книга, выпущенная небольшим тиражом, считается одним из ценнейших в своем роде изданий века. В том же году он написал первую из серии картин, снискавших ему неоспоримую всемирную славу. Хотя он всегда отвергал попытки толковать его творчество в духе мистицизма — в нем сохранилось еще достаточно левизны, чтобы воздерживаться от приверженности к какой-либо из религий, — великие, в буквальном и переносном смысле, полотна с их доминирующими зелеными и синими тонами, которые начали появляться в его новой студии, уходили корнями в другого Генри Бресли, о существовании которого внешний мир прежде не догадывался. В

известном отношении он как бы открыл свое подлинное «я» значительно позже, чем большинство художников, равных ему по дарованию и опыту. Он не стал законченным отшельником, но и не был уже *enfant terrible*⁹ среди людей своей профессии. Однажды он сам назвал свои картины «грезами»; и действительно, элементы сюрреализма в его творчестве были, они остались еще от двадцатых годов, и в этом сказалось его пристрастие к анахронизмам. Был также случай, когда он назвал свои полотна гобеленами; по его рисункам в обюссонском atelier¹⁰ и в самом деле ткали стенные ковры. Некоторые считали Бресли эклектиком («дитя немыслимого брака между Сэмюелем Палмером и Шагалом», — выразился один критик в статье о ретроспективе в галерее Тейт), что было заметно на всем протяжении его профессиональной карьеры, хотя окончательно он определился незадолго до переезда в Котминэ; отмечалось и некоторое сходство его с Ноланом, несмотря на то что его картины менее понятны, более загадочны и структурны... «Кельтский стиль» — вот нередко употребляемый применительно к нему термин (лесные мотивы, таинственные фигуры и контрасты).

Это отчасти признавал сам Бресли: когда кто-то попросил его назвать своих главных учителей, он ответил — Пизанелло и Диас де ла Пенья. Ответ был искренний — что случалось редко, — но лишь наполовину правдивый. Нет нужды доказывать, что ссылка на Диаса и барбизонскую школу была иронией над самим собой. Когда же Бресли спросили, чем привлёк его Пизанелло, он назвал картину «Видение св. Евстафия» из лондонской Национальной галереи и признался, что она не давала ему покоя всю жизнь. Если кто-то говорил ему, что влияние этой картины на первый взгляд мало в чем проявляется, он не задумываясь отвечал: Пизанелло и его покровители в начале пятнадцатого века находились под обаянием Артурова цикла¹¹.

Именно эта сторона творчества старого художника и привела Дэвида Уильямса (родившегося в 1942 году — в том самом, когда к Бресли пришел первый успех в Англии) в Котминэ в сентябре 1973 года. До ретроспективы в галерее Тейт Бресли не вызывал у него особого интереса, но уже тогда его поражала некоторая аналогия искусства этого художника с искусством — вернее, со стилем — интернациональной готики, которая его как ученого интересовала всегда. Два года спустя он написал на эту тему статью. В знак уважения он послал ее Бресли, но тот ничего не ответил. С тех пор прошел год, Дэвид почти выбросил этот эпизод из головы и, уж конечно, стал гораздо меньше уделять внимания творчеству старика. И

вдруг, почти как гром среди ясного неба, — предложение издательства написать биографический и критический очерк к книге «Искусство Генри Бресли», причем издательство уведомяло, что предложение это делается с согласия самого художника.

Так что к старому мастеру поехал не совсем ему неизвестный молодой человек. Родители Дэвида Уильямса — отец и мать — были архитекторы с именем, имевшие достаточно обширную совместную практику. Их сын уже в раннем возрасте проявил врожденную склонность к искусству, острое восприятие цвета и рос в окружении, от которого получал лишь поддержку. Со временем он поступил в художественный колледж, где в конце концов остановил выбор на живописи. Отличный студент, он уже на третьем курсе писал вещи, пользовавшиеся спросом у покупателей. Он был гага avis¹² не только в этом отношении: в противоположность большинству товарищес-студентов он отличался еще и ясностью мышления. Выросший в семье, где неплохо разбирались в современном искусстве и его проблемах, постоянно и досконально обсуждали их, он научился хорошо говорить и писать. Приобрел серьезные познания в истории искусства, чему способствовали не только его личное рвение, но и частые поездки в Тоскану, где он жил в купленном родителями бывшем крестьянском доме. Он понимал, что ему повезло, и знал, что его менее щедро одаренные средой и природой сверстники завидуют ему. Он всегда стремился нравиться людям и умело сочетал правдивость с чувством такта. В бытность свою студентом он пользовался — в этом, вероятно, заключалось самое удивительное — всеобщей любовью; то же случилось и потом, когда он стал преподавателем и лектором, — даже те, кого он как искусствовед подвергал критике, не питали к нему ненависти, ибо он-то, по крайней мере, никогда не устраивал разноса ради разноса. Лишь в очень редких случаях, отзываясь о том или ином художнике, о той или иной выставке, он не находил ничего заслуживающего похвалы.

Окончив колледж, он без чьей-либо подсказки поступил на один год в институт Курто. Затем в течение двух лет сочетал преподавание живописи с лекциями по эстетике. В своем собственном творчестве в этот период он испытывал, не без выгоды для себя, влияние оп-арта и Бриджет Райли. И сделался одним из тех молодых художников, работы которых удовлетворяли покупателей, не имевших достаточно средств на приобретение картин самой Райли. В 1967 году он сошелся с одной из своих студенток-третьекурсниц, и эта связь скоро переросла в любовь. Они поженились и купили с помощью родителей дом в Блэкхите. Дэвид решил было попробовать зарабатывать на жизнь исключительно живописью, но

рождение Александры, первой из двух дочерей, и ряд других обстоятельств (в частности, то, что к этому времени он, начав освобождаться от влияния Райли, почувствовал себя как художник не очень уверенно) вынудили его искать дополнительные источники дохода. Преподавать снова в студии он не захотел и стал лектором с неполной нагрузкой. Случай свел его с одним человеком, который предложил ему писать рецензии; он согласился и год спустя стал зарабатывать достаточно, что позволило ему отказаться от лекций. Так с той поры и пошла его жизнь.

Его собственное творчество начало завоевывать довольно прочную репутацию (по мере того как проходило его увлечение оп-артом), что обеспечивало его выставкам коммерческий успех. Хотя он и оставался абстрактным художником в общепринятом понимании этого прилагательного (живописцем-колористом, если пользоваться современным жаргоном), он знал, что склоняется в сторону природы и отходит от хитроумного иллюзионизма Райли. Его живописные работы отличались технической отточенностью, продуманной архитектурной, унаследованной от родителей, и замечательной мягкостью тонов. Грубо говоря, они хорошо смотрелись на стенах жилых комнат, что и служило одной из веских причин (Дэвид понимал это и не смущался) его коммерческого успеха; другая причина заключалась в том, что в отличие от большинства абстракционистов, он никогда не увлекался большими полотнами. Это, вероятно, тоже было перенято у отца и матери; пристрастие к монументальности, характерное для художников по ту сторону Атлантики, к изготовлению полотен для огромных залов музеев современного искусства не вызывало у него сочувствия. Он не относился к тому сорту людей, которым совестно признать, что их произведения, из-за своих малых размеров, украшают стены квартир и особняков и доставляют удовольствие частным владельцам.

Ему претила амбициозность, однако он не был лишен честолюбия. Живопись по-прежнему приносила ему больше денег, чем статьи, и это значило для него много, как и то, если можно так выразиться, положение, которое он занимал среди художников своего поколения. Он считал недостойной всякую мысль о погоне за богатством и славой и в то же время зорко следил за конкурентами и за тем, какую они имеют прессу. Он отнюдь не пребывал в блаженном неведении: как рецензент, он считал, что лучше переоценить наиболее опасного противника, чем недооценить его.

Его супружеская жизнь протекала, можно сказать, весьма спокойно, если не считать того короткого периода, когда Бет, взбунтовавшись против «постоянного материнства», стала под знамя движения за равноправие

женщин, но скоро успокоилась, так как в это время вышли из печати две детские книжки с ее иллюстрациями, уже был договор на третью и велись переговоры о четвертой. Браком своих родителей Дэвид всегда восхищался. Теперь и его собственный брак начал принимать такой же характер — легкие товарищеские отношения и взаимная выручка. Когда ему предложили написать вступление к книге о Бресли, он воспринял это как еще одно свидетельство того, что дела у него, в общем, идут неплохо.

Беспокоило его только одно: знает ли Бресли, что он тоже живописец или, точнее, живописец известного направления и, кроме того, искусствовед? Директор издательства говорил, что старик этими вопросами не интересовался. Статью о себе он видел и сказал, что она «читается», но его больше занимало качество цветных репродукций в будущей книге. Мнение Бресли о том, что полная беспредметность — ложный путь в искусстве, было широко известно, поэтому он вряд ли стал бы тратить время на ознакомление с творчеством самого Дэвида. С другой стороны, он мог теперь относиться терпимее к абстрактному искусству, хотя в 1969 году, живя в Лондоне, призывал все кары небесные на голову Виктора Пасмура. Однако более вероятно другое: будучи оторван от лондонского мира искусства, он и в самом деле не подозревал о том, что пригревает у себя на груди змею. Дэвид надеялся избежать споров, но если это не удастся, то он примет бой и попыбует втолковать старику, что современному обществу уже не свойственна подобная узость взглядов. Доказательством служит хотя бы тот факт, что Дэвид принял предложение издательства. Бресли «работал», а то, что с точки зрения эмоциональной и стилистической его работы коренным образом отличались — или стояли далеко — от предпочитаемых кем-то предшественников («Стиля»¹³, Бена Николсона и других, в том числе архиренегата Пасмура), для искусства двадцатого века было несущественно.

Дэвид был молод и, главное, терпим, непредубежден и любознателен.

Он воспользовался получасом свободного времени, пока «Генри» не разбудили, и спустился вниз посмотреть произведения искусства. Время от времени выглядывал из окон в сад: лужайка по-прежнему пустовала. В доме было так же тихо, как в момент его приезда. Из картин, висевших в длинном зале, только одна была кисти Бресли, но полюбоваться все равно было чем. Пейзаж, как Дэвид и догадался сначала, — это Дерен. Три прекрасных рисунка Пермеке. Энсор и Марке. Ранний Боннар. Характерный нервный карандашный набросок без подписи — конечно, это Дюфи. А вот великолепный Явленский (невозможно представить, как он

сюда попал), Отто Дике (пробный оттиск гравюры, подписанный автором), а рядом, как бы для сравнения, рисунок Невинсона. Два Метью Смита, один Пикабия, небольшой натюрморт с цветами (должно быть, ранний Матисс, правда, не совсем похож)... но еще больше было картин и рисунков, авторов которых Дэвид не мог назвать. Хотя произведения более крайних школ отсутствовали, в целом искусство начала двадцатого века было представлено здесь хорошо, многие небольшие музеи дорого бы дали за такую коллекцию. Разумеется, Бресли предпочитал довоенное искусство — по-видимому, он всегда располагал для этого средствами. Единственный ребенок в семье, он получил в наследство от матери, умершей в 1925 году, солидное состояние. Его отец, один из тех викторианских джентльменов, которые жили припеваючи, не имея никаких определенных занятий, погиб в 1907 году во время пожара в гостинице. По свидетельству Майры Ливи, он тоже, хотя и дилетантски, занимался коллекционированием картин.

Для своей картины Бресли выбрал самое почетное место — в центре зала над старым, выложенным из камня камином. Это была «Охота при луне» — вероятно, наиболее известная из его работ, созданных в Котминэ; именно о ней Дэвид собирался писать подробно, ему ужасно хотелось еще раз внимательно посмотреть ее на досуге... чтобы убедиться по крайней мере в том, что он не переоценивал ее достоинств. Он почувствовал некоторое облегчение от того, что при вторичном знакомстве (первое состоялось четыре года назад на выставке в галерее Тейт) картина оказалась ничуть не хуже. Более того, она выгодно отличалась от той, которую он воспроизводил в своей памяти или видел на репродукциях. Как и во многих других произведениях Бресли, здесь явно сказывалась большая предварительная иконографическая работа (в данном случае изучению подверглись «Ночная охота» Уччелло и многочисленные подражания ей, появившиеся в последующие столетия), что наводило на мысль о смелом сравнении, о сознательном риске... подобно тому, как испанские рисунки Бресли были вызовом великой тени Гойи — автор не просто подражал ему, а пародировал, — так и воспоминание о картине Уччелло из музея Ашмола некоторым образом углубляло и усиливало впечатление от полотна, перед которым сидел сейчас Дэвид. Оно придавало необходимую напряженность: за таинственностью и неопределенностью (нет ни гончих, ни коней, ни дичи... только неясные темные фигуры среди деревьев — и тем не менее название кажется оправданным), за современностью множества поверхностных деталей скрывались и уважение к вековой традиции, и издевка над ней. Дэвид затруднился бы назвать эту работу шедевром:

местами краска неровная, и при более внимательном рассмотрении — намеренно откровенно *impasto*¹⁴; в целом же изображение несколько статичное, ему недостает светлых тонов (впрочем, это, наверно, опять воспоминание о картине Уччелло). И все же произведение это значительное, оно впечатляло и выглядело очень недурно на фоне картин других английских художников послевоенного периода. Самое удивительное, пожалуй, заключалось в том, что эта картина, как и вся серия, была написана человеком преклонных лет. «Охоту при луне» Бресли закончил в 1965 году, на шестьдесят девятом году жизни. А ведь с тех пор прошло еще восемь лет.

И вдруг, как бы в ответ на немой вопрос Дэвида, на пороге двери со стороны сада появился сам художник во плоти.

— Уильямс, мой дорогой.

Он шагнул вперед и протянул руку; на нем были голубые брюки, синяя рубашка — неожиданная вспышка Оксфорда и Кембриджа — и красный шелковый шейный платок. Голова совершенно седая, но в бровях еще сохранились темные волоски; нос луковичей, губы сложены в обманчиво капризную гримасу, на загорелом лице — серо-голубые, с мешками, глаза. Движения преувеличенно энергичные, точно он сознавал, что силы у него уже на исходе; меньше ростом и стройнее, чем Дэвид представлял его себе по фотографиям.

— Великая честь быть в вашем доме, сэр.

— Чепуха. Чепуха. — Старик потрепал Дэвида по локтю, его веселые, насмешливые глаза пытливо и вместе высокомерно глядели на гостя из-под бровей и белой пряди волос на лбу. — О вас позаботились?

— Да. Все в порядке.

— Надеюсь, Мышь не заморочила вам голову. У нее не все дома. — Старик стоял подбоченясь, явно стараясь казаться моложе и живее — ровней Дэvidу. — Воображает себя Лиззи Сиддал. А я, значит, тот самый отвратительный маленький итальяшка... Оскорбительно, черт побери, а?

Дэвид засмеялся:

— Я действительно заметил некоторую...

Бресли закатил глаза.

— Дорогой мой, вы и понятия не имеете. До сих пор. Девчонки этого возраста. Ну, а как насчет чая? Да? Мы в саду.

Когда они двинулись к выходу, Дэвид указал на «Охоту при луне»:

— Рад, что снова вижу это полотно. Дай бог, чтобы полиграфисты сумели достойно воспроизвести его.

Бресли пожал плечами, как бы показывая, что этот вопрос несколько

его не трогает или что он безразличен к столь откровенной лести. Он снова бросил на Дэвида испытующий взгляд:

— А вы? Говорят, вы первый сорт.

— Да что вы, куда мне.

— Читал вашу работу. Все эти ребята — о них я и не знал ничего. Хорошо написали.

— Но неверно?

Бресли коснулся его руки.

— Я же не ученый, друг мой. Вам это может показаться удивительным, но я не знаю многого из того, что вы, вероятно, впитали чуть ли не с молоком матери. Ну, что делать. Придется вам с этим смириться, а?

Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в том же белом арабском наряде, шла по лужайке со стороны дальнего крыла дома с чайным подносом в руках. Она не обратила на мужчин никакого внимания.

— Что я говорил? — проворчал Бресли. — Хлыста бы ей хорошего по мягкому месту.

Дэвид закусил губу, чтобы не рассмеяться. Подойдя к столу под катальпой, он заметил вторую девушку: она стояла в том уголке лужайки, который был скрыт за густым кустарником и не виден со стороны дома. Должно быть, все это время она читала — он видел, как она направилась в их сторону с книгой в руке, оставив на траве соломенную шляпу с красной лентой. Если Мышь выглядела странно, то эта особа — просто нелепо. Ростом она была еще ниже, очень худая, с узким лицом и копной вьющихся, красноватых от хны волос. Ее уступка требованиям приличия сводилась лишь к тому, что она надела нижнюю трикотажную рубашку — не то мужскую, не то подростковую, выкрашенную в черный цвет. Короткое это одеяние едва-едва прикрывало ее чресла. На веках лежали черные тени. Она напоминала тряпичную куклу, такую неврастеничную уродку, персонаж из трущобной части Кингс-роуд.

— Это Энн, — сказала Мышь.

— Известная под кличкой Уродка, — добавил Бресли.

Бресли жестом пригласил Дэвида сесть рядом с ним. Дэвид медлил, видя, что свободным остается лишь один стул; но Уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле подруги. Из-под ее черной рубашки стали видны красные трусики. Мышь принялась разливать чай.

— Первый раз в этих краях, Уильямс?

Вопрос давал повод для вежливой беседы; впрочем, восторги Дэвида

по поводу Бретани и ее ландшафта были вполне искренни. Старику это, видимо, понравилось, он начал рассказывать историю своего дома: о том, как нашел его и почему покинул Париж. Со смехом поведал о том, как ему создали репутацию оригинала-отшельника, — должно быть, ему доставляло удовольствие беседовать с другим мужчиной. Во время разговора он ни разу не повернулся лицом к девушкам, совершенно игнорируя их, и Дэвиду все больше и больше казалось, что им неприятно его присутствие, он не мог сказать, из-за того ли, что он отвлек на себя внимание старика, внес в дом искусственную, натянутую атмосферу, или просто они уже слышали все, что говорил ему сейчас старик, и скучали. Между тем Бресли, словно желая лишний раз опровергнуть укрепившуюся за ним репутацию отшельника, заговорил о валлийских пейзажах и о раннем детстве в Уэльсе, до 1914 года. Дэвид знал, что по матери Бресли — валлиец, что в годы войны он жил в графстве Брекнокшир; но он не знал, что старик бережно хранит память об этом крае и тоскует по его холмам.

Старик имел обыкновение выражаться замысловато, отрывисто и с такими интонациями, по которым трудно было определить, спрашивает он или утверждает; говорил он на странном, вышедшем из употребления жаргоне, беспрестанно оснащая свою речь непристойностями, точно он был не человек высокого интеллекта, а какой-нибудь эксцентричный отставной адмирал (сравнение, вызвавшее у Дэвида скрытую усмешку). Словечки, которыми пользовался Бресли, звучали в его устах поразительно неуместно — странно было слышать старомодные вычурные выражения, употребляемые английскими аристократами, от человека, чья жизнь была отрицанием всего, что эти аристократы утверждали. Столь же нелепо выглядела его зачесанная набок седая челка, к которой Бресли, должно быть, привык с юности и которая давно уже по милости Гитлера не пользуется популярностью у более молодых людей. Она придавала ему мальчишеский вид, но пунцовое холерическое лицо и водянистые глаза изобличали человека весьма зрелого и непростого. Ему явно хотелось показать себя более безобидным старым чудаком, чем на самом деле; и, должно быть, он знал, что никого этим не обманет.

И все же, если бы девицы не были так молчаливы — Уродка даже уселась поудобней, спиной к креслу подруги, и, взяв книгу, снова принялась за чтение, — Дэвид чувствовал бы себя сравнительно свободно. Мышь сидела в своем белом элегантном одеянии и слушала; но слушала как-то рассеянно, точно мысли ее были далеко — может быть, она представляла себя изображенной на полотне Милле. Всякий раз, когда Дэвид ловил ее взгляд, на ее довольно миловидном лице появлялась едва

заметная тень причастности к беседе; но именно это принужденное выражение и выдавало ее невнимание. Ему захотелось узнать, какая еще есть правда, кроме той, которая видна на поверхности. Он никак не предполагал встретить здесь этих девушек; из разговора с издателем у него сложилось впечатление, что старик живет один, если не считать пожилой экономки-француженки. Отношение девиц к старику казалось вполне дочерним. Лишь однажды во время чаепития Уродка показала когти.

Дэвид, полагая, что затрагивает безопасную тему, упомянул Пизанелло и его фрески, недавно найденные в Мантуе. Бресли видел репродукции и, думалось Дэвиду, с неподдельным интересом слушал рассказ человека, знакомого с ними по оригиналам. Кстати выяснилось, что старик и в самом деле несведущ во фресковой технике (Дэвид сначала не верил этому, хотя его и предупреждали). Но не успел он пуститься в рассуждения об *arricìo*, *intonaco*, *sinopie*¹⁵ и прочем, как Бресли прервал его:

— Уродка, дорогая, брось ты, ради бога эту дерьмовую книжку и слушай.

Уродка положила книгу в мягкой обложке на землю и скрестила руки на груди.

— Извините.

Извинение относилось к Дэвиду — старика она не удостоила взглядом, — но в тоне ее звучала нескрываемая скука, точно она хотела сказать: ты нудный человек, но раз он настаивает...

— Если ты употребляешь это слово, черт побери, то скажи его как следует, а не для проформы.

— Я не знала, что мы тоже участвуем.

— Чушь.

— Но я все равно слушала. — Она говорила с легким акцентом кокни¹⁶, голос у нее был усталый и грубый.

— Не будь такой дерзкой, черт тебя дери.

— Да, слушала.

— Чушь.

Она сделала гримасу, оглянулась на Мышь.

— Генри-и!

Дэвид улыбнулся:

— Что читаете?

— Друг мой, не ввязывайтесь. Будьте так любезны. — Старик наклонился вперед и нацелил на нее палец. — Чтобы этого больше не было. Учись.

— Хорошо, Генри.

— Извините, любезнейший. Продолжайте.

Этот небольшой инцидент толкнул Мышь на неожиданный поступок. Она украдкой кивнула Дэвиду за спиной Бресли: хотела ли она этим сказать, что не произошло ничего необычного, или посоветовать ему продолжать говорить, пока не разразился настоящий скандал, — это было неясно. Но когда он заговорил снова, ему показалось, что она слушает несколько более заинтересованно. Даже задала ему вопрос, показывая, что кое-что знает о Пизанелло. Должно быть, старик рассказывал ей об этом художнике.

Немного погодя Бресли встал и пригласил Дэвида посмотреть его «рабочую комнату» в одном из строений за садом. Девушки даже не пошевелились. Проходя следом за Бресли через арку в стене, Дэвид оглянулся на худую загорелую фигурку в черной трикотажной рубашке. Уродка снова держала книгу в руках. Когда они вышли на покрытую гравием дорожку, ведущую налево к строениям, старик подмигнул и сказал:

— Всегда одно и то же. Попробуй переспи с такими сучками. Потеряешь чувство пропорции.

— Они студентки?

— Мышь. Чем себя считает другая, одному богу известно.

Но ему явно не хотелось говорить о девицах, словно они значили для него не больше, чем мотыльки, прилетевшие на огонек свечи. Он стал рассказывать Дэвиду о переделках в помещениях и о том, что в них было раньше. Они вошли в главную мастерскую — бывший амбар, где был уничтожен верхний этаж. У широкого окна, обращенного на север, к посыпанному гравием дворику, стоял длинный стол, на котором лежали в беспорядке рисунки и листы чистой бумаги, рядом с ним — стол с кистями и красками, распространявшими знакомые запахи; большую же часть помещения занимала новая, законченная на три четверти картина размером шесть на двенадцать футов на специальном станке с передвижными лесенками. Это был опять-таки лес, но с поляной в центре, гораздо более населенной, чем обычно, и не так сильно напоминающей сказочное подводное царство; темно-синее, почти черное небо создавало впечатление не то ночи, не до душного дня перед грозой, ощущение опасности, нависшей над человеком. Но здесь уже сказывалось непосредственное влияние (Дэвид уже привык искать чье-нибудь влияние) Брейгелей и даже некоторое подражание самому себе — «Охоте при луне», висевшей в зале. Дэвид с улыбкой посмотрел на Бресли:

— Ключ?

— Кермесса? Пожалуй. Еще не уверен. — Старик задержал взгляд на своей картине. — Играет со мной в прятки. Ждет своего часа, вот что.

— А по-моему, очень хороша. Уже сейчас.

— Потому мне и нужно женское общество. Уметь выбрать момент. Кровотечения и прочее. Знать, когда не следует работать. Девять десятых успеха. — Он посмотрел на Дэвида. — Да вы же все это знаете. Сами художник, а?

Дэвид затаил дыхание и поспешил уйти от скользкой темы: рассказал о Бет и о том, что она работает в одной с ним мастерской, — он понимал, что Бресли имел в виду. Старик как бы в знак одобрения развел руками и ничего не сказал; относительно творчества самого Дэвида из вежливости допытываться не стал. Отвернулся и сел на табурет, взял в руки карандашный натюрморт с разбросанными на столе дикими цветами — ворсянками и чертополохом. Рисунок был выполнен с впечатляющей, хотя несколько безжизненной, тщательностью.

— Мышь. Уже чувствуется почерк, вы не находите?

— Прекрасная линия.

Бресли кивнул на огромное полотно:

— Разрешил ей помогать. Черновую работу.

— На таком полотне... — пробормотал Дэвид.

— Она умница, Уильямс. Не заблуждайтесь на ее счет. И воздержитесь от насмешек. — Старик снова посмотрел на рисунок. — Заслуживает лучшего. Без нее я бы не смог, правда.

— Уверен, что она и сама многому здесь учится.

— Знаете, что говорят люди? Старый распутник и тому подобное. Человек моих лет.

Дэвид улыбнулся.

— Уже не говорят.

Но Бресли, казалось, не слышал.

— А я плюю на это. Всегда плевал. Пусть думают что хотят.

Повернувшись лицом к картине — а Дэвид стоял рядом и смотрел на нее, — он заговорил о старости и о том, что вопреки мнению молодежи воображение художника, его способность постижения с возрастом не атрофируются. Недостает ему только физических и моральных сил, чтобы осуществить задуманное, — как старому бедняге, ливрейному слуге, которому тоже без посторонней помощи не обойтись. Сделав это вынужденное признание, Бресли явно смутился.

— «Отцелюбие римлянки»¹⁷. Знаете, что это такое? Дряхлый старик

сосет грудь молодой женщины. Эта мысль часто меня посещает.

— Мне кажется, это выгодно не только одной стороне, — Дэвид показал рукой на натюрморт. — Знали бы вы, как сейчас обучают искусству в Англии.

— Вы думаете?

— Уверен. Большинство студентов даже рисовать не умеет.

Бресли провел ладонью по седой голове; в его взгляде снова мелькнуло что-то трогательно-мальчишеское, точно старик не был уверен в себе. Дэвид начинал невольно проникаться сочувствием к этому человеку, угадывая под внешней грубоватостью манеры и языка застенчивый, но открытый характер; видимо, старик решил, что может довериться своему собеседнику.

— Следовало бы отправить ее домой. Духу не хватает.

— Разве это не от нее зависит?

— А она ничего не говорила? Когда вы приехали?

— Разыгрывала из себя ангела-хранителя — между прочим, весьма убедительно.

— Скорее клушу, осевшую на насесте. — Слова эти были сказаны почему-то с мрачной усмешкой; старик, не вдаваясь в объяснения, встрепенулся и тронул Дэвида за руку, как бы извиняясь перед ним. — К черту. Приехали поджаривать меня на вертеле, а?

Дэвид спросил, как он готовится к работе над картиной.

— Методом проб и ошибок. Много рисую. Смотрите.

Он подвел Дэвида к дальнему концу стола. На эскизах лежала та же печать робости в странном сочетании с уверенностью, что угадывалась в тоне его высказываний о Мыши. Словно он боялся критики и в то же время считал, что заслужил ее.

Его новая картина, видимо, родилась из очень смутных воспоминаний раннего детства о поездке на ярмарку, теперь он уже не помнил точно, где была эта ярмарка; пяти- или шестилетним мальчиком он желал этой поездки, она доставляла ему огромную радость — это неодолимое желание до сих пор сохранилось в памяти художника, им тогда было пронизано все: ребенку хотелось подойти к каждому лотку, к каждой лавочке, все увидеть своими глазами, все попробовать. А потом — гроза, которая для взрослых, судя по всему, не явилась неожиданностью, мальчика же потрясла и ужасно разочаровала. Перебирая эскизы, выполненные гораздо тщательнее и в большем числе вариантов, чем он предполагал, Дэвид видел, что внешние приметы ярмарки становятся все менее и менее заметными и в окончательном изображении исчезают совершенно. Как будто, постоянно

меня композицию и отработывая детали, чтобы избежать буквализтики, старик задался целью скорректировать неуклюжую натуралистичность, концептуальную связь. Но сюжет объяснял странную глубину, забвение места действия. Отвлеченные ассоциации, пятнышки света на фоне бесконечного мрака и все остальное выглядело, пожалуй, чуть слишком банально. В целом на картине лежал излишний отпечаток мрачной загадочности; иными словами, нечто вроде пессимистического трюизма о положении человека. Но тон, настроение, сила утверждения выглядели убедительно — и этого было более чем достаточно, чтобы преодолеть предубеждение, какое питал Дэвид против конкретных сюжетов в живописи.

Далее беседа потекла по более широкому руслу, и Дэвиду удалось увести старика к его прошлому, к периоду жизни во Франции в двадцатые годы, дружбы с Браком и Метью Смитом. Преклонение Бресли перед Браком давно уже не было тайной, но старик, видимо, хотел убедиться в том, что Дэвиду об этом известно. По его мнению, сравнивать Брака с Пикассо, Матиссом и «компанией» — значит ставить великого человека на одну доску с великими подростками.

— Они это знали. Он это знал. Да и вообще все знают, кроме чертовой публики.

Дэвид не стал спорить. Старик произносил имя Пикассо так, что оно приобретало неприличное звучание. Но в целом, пока они разговаривали, он старался воздерживаться от непристойных выражений. Маска невежества стала спадать, обнажая лицо старого космополита. Дэвид начал подозревать, что имеет дело с бумажным тигром или, во всяком случае, с человеком, который все еще жил в мире, существовавшем до его появления на свет. Вспышки агрессивности Бресли были основаны на смехотворных, изживших себя представлениях о том, что может шокировать людей, служить той красной тряпкой, которая приводит их в бешенство; как это ни грустно, но разговор с Бресли напоминал игру матадора со слепым быком. Только какой-нибудь самодовольный кретин мог попасться такому быку на рога.

Было без малого шесть часов вечера, когда они вернулись в дом. Обе девушки снова куда-то исчезли. Бресли повел Дэвида в гостиную на первом этаже посмотреть другие картины. Посыпались анекдоты, категорические оценки. Одного прославленного художника он упрекнул за гладкость:

— Слишком легко, черт побери. Этот, знаете ли, может производить по дюжине картин в день. Только лентяй. Это его и спасло. Тонкая бестия.

Дэвид спросил, чего ради он покупал эти вещи, и старик откровенно

ответил:

— Ради денег, дорогой. Капитал. Никогда не рассчитывал, что мои собственные вещи представят большую ценность. Ну, а это — кто, вы думаете?

Они остановились перед небольшим натюрмортом с цветами, который Дэвид при первом ознакомлении приписал Матиссу. Дэвид покачал головой.

— С тех пор писал одну дребедень. Но этой подсказки оказалось недостаточно — среди такой коллекции.

Дэвид улыбнулся:

— Сдаюсь.

— Миро. Пятнадцатый год.

— Боже милостивый.

— Грустно. — Бресли поник головой, точно стоял над могилой человека, умершего в расцвете лет.

Были там и другие маленькие шедевры, авторов которых Дэвид не смог назвать сам: Серюзье, замечательный пейзаж Филиже в духе Гогена... но когда они дошли до дальнего угла зала, Бресли открыл дверь:

— А вот здесь, Уильямс, у меня художник получше других. Вот увидите. Сегодня за ужином.

Дверь вела в кухню; за столом сидел и чистил овощи седовласый мужчина со впалыми щеками; пожилая женщина, хлопотавшая у современной кухонной плиты, повернула голову и улыбнулась. Дэвида познакомили с ними: Жан-Пьер и Матильда, они вели домашнее хозяйство и ухаживали за садом. Была там еще большая восточно-европейская овчарка. Пес вскочил было на ноги, но Жан-Пьер осадил его. Пса звали Макмиллан — по созвучию с «Виллон»¹⁸; Бресли с усмешкой заметил, что пес — тоже «старый самозванец». Старик заговорил по-французски — впервые за весь вечер — странно изменившимся голосом и, насколько мог судить Дэвид, совершенно свободно, как на родном языке: вероятно, английский язык стал для него более чужим, чем французский. Дэвид догадался, что они обсуждают меню. Бресли подошел к плите и, приподнимая крышки, стал нюхать содержимое кастрюль, как это делают офицеры, инспектирующие солдатскую кухню. Потом извлекли и осмотрели щуку. Пожилой француз стал что-то рассказывать. Видимо, это он поймал щуку, а собака, когда рыба оказалась на берегу, пыталась схватить ее. Бресли наклонился и погрозил ей пальцем: побереги, мол, свои зубы для воров; Дэвид с радостью отметил про себя, что в момент его прибытия в имение овчарки не оказалось поблизости. Судя по всему, это

вечернее посещение кухни — часть ритуала. Дух семейственности, простота отношений, вид тихой французской четы приятно контрастировали с несколько нездоровой атмосферой, которую ощущал Дэвид из-за присутствия двух девушек.

Когда они возвратились в гостиную, Бресли сказал Дэвиду, чтобы он чувствовал себя как дома. А ему нужно написать несколько писем. Перед ужином, в половине восьмого, они соберутся вместе выпить.

— Надеюсь, у вас не слишком официально?

— Никаких церемоний, друг мой. Хоть нагишом приходите, если нравится. — Он подмигнул. — Девушки будут не против.

Дэвид улыбнулся:

— Понятно.

Старик помахал рукой и направился к лестнице. На полдороге остановился и сказал:

— Свет-то не сошелся клином на голых грудях, а?

Дэвид постоял немного в раздумье и тоже пошел к себе наверх. Сел в глубокое кресло и стал писать. Пожалел, что не может воспроизвести буквально все слова старика, однако первые два часа все равно оказались весьма интересными, а потом, наверное, фактов еще прибавится. Кончив писать, он лег на кровать, подложил руки под голову и устремил взгляд в потолок. В комнате, несмотря на открытые ставни, было очень тепло и душно. Странное дело, Бресли несколько разочаровал его как личность — слишком уж много позы и старческого кривлянья, слишком велик разлад человека с его творчеством; кроме того, как Дэвид ни старался об этом не думать, он был вопреки логике немного обижен на то, что старик ничего не спросил о его собственной работе. Он понимал, что обижаться нелепо, что чувство это — всего лишь реакция на явную мономанию; была тут и доля зависти... довольно роскошный старый особняк, просторная мастерская, коллекция картин, легкий налет чего-то порочного, двусмысленного в этом доме, особенно действовавшего на воображение при воспоминании о привычной старушке Бет и о детях; уединенность этого мирка, отчуждение, неожиданные вспышки искренности, патина... вид цветущей сельской местности, по которой он весь день ехал в машине, обилие созревающих яблок.

Но он был несправедлив к Бет: ведь когда в понедельник утром опасения насчет ветрянки Сэнди подтвердились и у них произошел неприятный разговор, она отнеслась к своим родительским обязанностям более ответственно, чем он. Теща, приехавшая к ним специально для того, чтобы остаться на время их отсутствия с детьми, и вполне способная

справиться с ними, приняла его, Дэвида, сторону, и тем не менее жена настояла на своем. Тому причиной — ее беспокойный характер, всегдашняя несговорчивость и, как он подозревал, некоторые угрызения совести из-за кратковременного бунта против тирании детей вскоре после рождения Луизы. Бет заявила, что даже если все обойдется благополучно, она была бы беспокойна, если бы уехала, потому что продолжала бы оставаться в неведении; Дэвид же должен ехать — ведь это, в конце концов, его работа. А поездка на неделю в Ардеш, которую они планировали после Бретани, может еще состояться. Наконец, когда он в понедельник вечером собрался в Саутгемптон, они договорились так: если в четверг она не пришлет ему в Котминэ телеграмму — значит, на следующий день будет в Париже. Дэвид тотчас же отправился за билетом на самолет и вернулся домой не только с билетом, но с цветами и бутылкой шампанского. Теща одобрила этот жест. Бет отнеслась к нему сухо. Ее огорчило то, что он, будучи расстроенным, так как ему не улыбалось ехать одному, тем более с такой миссией, слишком уж демонстративно пренебрег своим родительским долгом. Но ее последние слова были: «Я прощу тебя в Париже».

Дверь рядом с лестницей — та, за которой исчез давеча Бресли, — на минуту приоткрылась, и до его слуха донеслись звуки музыки — не то радио, не то проигрыватель, похоже на Вивальди. И снова тишина. Дэвид почувствовал, что он здесь чужой и, в сущности, непрощенный гость. Мысли его вернулись к девушкам. Его отнюдь не шокировало то, что они валялись со стариком в постели. Вероятно, им хорошо платили за услуги — в буквальном и переносном смысле; должно быть, они знали, по какой цене продаются его произведения, не говоря уже о капитале, который можно извлечь из его коллекции на аукционе. Дэвид не переставал ловить себя на мысли о том, что их присутствие раздражает его. Конечно же, у них есть своя цель и они пользуются слабостью старика. Он чутьем улавливал какую-то тайну, в которую ему не дано проникнуть.

Он снова пожалел, что рядом с ним нет Бет. Та всегда отличалась большей прямоотой и не так боялась обидеть кого-нибудь, поэтому смогла бы вытянуть из этих девиц больше сведений.

Он был рад, что, перед тем как спуститься вниз, немного принарядился: джинсовый костюм, рубашка и шарф вместо галстука. Мышь, в кремовой блузе со стоячим воротничком и длинной рыжеватой юбке, накрывала на стол в дальнем конце гостиной. Горела люстра — за окнами сгущались сумерки. Войдя в комнату, Дэвид увидел седой затылок Бресли, сидевшего на диване перед камином, а рядом с ним — прислонившуюся к его плечу курчавую головку Уродки. Откинувшись на

спинку дивана и положив ноги на пуф, она читала вслух какой-то французский журнал. На ней было черное шелковое декольтированное платье с оборками на испанский манер. На ее голых плечах покоилась рука старика. При приближении Дэвида он не переменял позы, а лишь показал свободной рукой на Мышь.

— Возьмите чего-нибудь выпить, мой друг. Он тоже переоделся: на нем был светлый летний пиджак, белая рубашка и лиловый галстук-бабочка. Уродка повернула голову, скользнула темными глазами по Дэвиду, скривила ярко-красные губы и начала медленно переводить прочитанное на английский язык. Дэвид улыбнулся, потоптался немного, потом подошел к столу. Мышь оторвалась от своих дел, подняла на него холодный взгляд:

— Что будете пить?

— То же, что и вы.

— «Нуайи-Прат»?

— Прекрасно.

Она подошла к старому резному armoire¹⁹ возле двери, ведущей в кухню, где стояли стаканы, бутылки, ведерко со льдом.

— Лимон?

— Да, пожалуйста.

Он взял в руку стакан и смотрел, как она prepares коктейль-вермут, немного шипучего фруктового напитка и, наконец, виски... осторожно, соблюдая пропорции, даже поднося стакан к глазам и проверяя уровень жидкости с помощью двух приставленных пальцев, перед тем как добавить сверху такое же количество содовой. Сквозь неплотную ткань ее блузки, напоминающую старинные кружева, просвечивало голое тело; блузка была закрытая, с длинными рукавами, суженными на запястьях, со стоячим воротничком в стиле эдвардианской эпохи; в общем, вид достаточно строгий и скромный, если бы Дэвид не обнаружил при ближайшем рассмотрении, что под блузкой нет бюстгальтера. Пока девушка наполняла стаканы, он смотрел на ее профиль, на невозмутимое выражение ее лица. По ее ловким, уверенным движениям видно было, что она привыкла к роли хозяйки. Дэвид не понимал, почему старик находит нужным подсмеиваться над ней; в конце концов хороший вкус и ум — гораздо более ценные качества, чем глупость. Да и не было теперь в ее облике ничего прерафаэлитского — обыкновенная, довольно смазливая девчонка семидесятых годов... и гораздо более простая в обращении, чем та нелепая чувственная кукла, что сидела на диване и опять читала французский журнал. Время от времени старик поправлял ее, и она перечитывала неверно произнесенное слово. Мышь отнесла им коктейли и

вернулась к Дэвиду. Он подал ей стакан и вдруг почувствовал на себе ее пристальный взгляд; глаза девушки глядели настороженно — казалось, она наполовину уже прочла его мысли. Она молча подняла стакан за его здоровье и отпила глоток. Подперла ладонью одной руки локоть другой. И наконец улыбнулась.

— Хорошо ли мы вели себя?

— Превосходно. Очень полезный был разговор.

— Дайте ему срок.

Дэвид широко улыбнулся. Девушка определенно начала ему нравиться. Правильное, будто выточенное лицо, красивый рот и очень ясные серо-голубые глаза, казавшиеся еще светлее на фоне загорелой кожи и совсем не отрешенные, как во время чаепития. Теперь она слегка подвела их, отчего они приобрели чуточку славянскую удлиненную форму и смотрели прямо и открыто, что ему всегда нравилось. Он понимал, что рушится одно из его представлений о ней. Ему уже не верилось, что она способна использовать старика в корыстных целях.

— Он показал мне один ваш рисунок. Ворсянки? Мне понравилось.

Она на мгновение опустила глаза, желая, видимо, показать, что хочет, но не решается сказать ему что-то; потом снова взглянула на него:

— А мне понравилась ваша выставка в Редферене прошлой осенью.

Дэвид вздрогнул от удивления, которое лишь отчасти было притворным; снова улыбнулся:

— Никак не думал.

— Два раза ходила.

— Где вы учились? — спросил он.

— В Лидсе. Диплом с отличием. Потом два семестра в ККИ.

Он с должным изумлением взглянул на нее.

— Господи, да неужели вы...

— Здесь я узнаю больше.

Он не стал спорить — его дело сторона, но все же заметил, что, как бы она ни была права, аспирантура в таком труднодоступном заведении, как Королевский колледж искусств, — далеко не пустяк, от такого с легким сердцем не откажешься.

— Я не жалею. Генри знает, что ему повезло со мной.

Она сказала эти слова с улыбкой, но в этой улыбке не было ни иронии, ни самодовольства, и Дэвид еще более изменил свое отношение к девушке. Она сама себя отрекомендовала и предстала в его глазах достойным, серьезным человеком. Он понял, что сильно заблуждался на ее счет; видимо, его искусно разыгрывали вначале, когда он сюда приехал. Он живо

представил себе, какую помощь она и в самом деле оказывает старику в студии; что касается сексуальных услуг, то их, как он начал догадываться, оказывала лишь та, другая девица.

— Новая картина замечательна. Не понимаю, откуда у него силы так много работать.

— Он ведь думает только о себе. Главным образом.

— Этому вы здесь и учитесь?

— Смотрю.

— Он сказал, что очень ценит вас.

— В сущности, он ребенок. Ему нужны игрушки. Привязанность, например. Чтобы можно было взять ее и вдребезги разбить.

— Но ваша привязанность сохранилась?

Она пожала плечами:

— Нам приходится немножко подыгрывать ему. Делать вид, что мы благоговеем перед его установившейся репутацией порочного человека. Нечто вроде гарема.

Он улыбнулся и посмотрел себе под ноги.

— Признаюсь, я не раз думал, действительно ли это так.

— Гостю, который был здесь до вас, он в первые же минуты похвастал, что накануне ночью трижды переспал с нами. Не показывайте вида, что не верите ему. По этой части.

Дэвид засмеялся:

— Хорошо.

— Знает, что никто ему не верит, но не в том суть.

— Понятно.

Она отхлебнула вермута.

— Чтоб не оставалось иллюзий: Энн и я не отказываем ему в тех маленьких удовольствиях, на которые он еще способен.

Ее глаза были устремлены прямо на него. За откровенностью в них угадывалась готовность к отпору, предостережение. Они оба потупились; Дэвид скользнул взглядом по очертаниям ее груди, просвечивающих сквозь блузку, и быстро отвел глаза. Казалось, она была лишена кокетства, в облике ее не было и намека на кричащую чувственность подруги. Самообладание девушки было столь велико, что ее красота, ее едва прикрытая нагота теряли значение; и благодаря ее манере держаться это особенно было заметно.

Она продолжала:

— Он совсем не умеет выражать свои мысли словами. Как вы, вероятно, заметили. Отчасти потому, что слишком долго жил за границей.

Но есть в нем что-то гораздо более глубокое. Он должен все увидеть и почувствовать. В буквальном смысле. Силуэтов молоденьких девушек среди цветов ему недостаточно.

— Теперь вижу, как ему повезло.

— Я показала вам только приходную часть книги.

— В этом я тоже отдаю себе отчет.

Она взглянула украдкой в сторону старика и снова перевела глаза на Дэвида.

— Не смущайтесь, если он начнет грубить. Не надо отступать, он этого не терпит. Держитесь твердо. И не теряйте выдержки. — Она улыбнулась. — Извините за поучительный тон. Но я хорошо его знаю.

Он взболтнул содержимое стакана, ломтик лимона погрузился на дно.

— По правде говоря, мне не совсем понятно, почему он позволил мне приехать. Если знает о моей работе.

— Потому я и предостерегаю вас. Он спрашивал меня, и мне пришлось сказать ему. Он ведь все равно так или иначе мог узнать.

— О господи.

— Не волнуйтесь. Бросит несколько язвительных реплик и этим, я думаю, удовлетворится. Не обращайтесь к нему.

Он посмотрел на нее с удрученным видом.

— Мне кажется, мое присутствие ужасно вам докучает.

— Потому что вы увидели наши кислые физиономии. Не слишком любезно, правда?

Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ.

— Ну, раз вы сами так говорите...

— Да мы в восторге, что вы приехали. Только не стоит слишком уж подчеркивать это на глазах у Генри.

— Теперь я все понимаю.

В ее глазах вдруг блеснул озорной огонек.

— Вам и Энн надо получше узнать. С ней сложнее, чем со мной.

Но поговорить об Энн им так и не удалось. Дверь из кухни приоткрылась, и из нее высунулась седая голова француженки-экономки.

— Je peix servir, mademoiselle?²⁰

— Oui, Mathilde. Je viens vous aider²¹.

Мышь ушла на кухню. Уродка была уже на ногах и тянула Бресли за руки, помогая ему подняться. Вся спина у нее из-за безмерно низкого выреза была голая. Они направились рука об руку к тому месту, где стоял Дэвид. Любопытно было смотреть, как смешно она семенит ногами; было в

этом что-то раздражающе притворное, обезьянье, резко контрастирующее со спокойной походкой ее седовласого партнера. Дэвид усомнился, что сможет когда-либо «узнать» ее.

Накрыта была только часть стола. Бресли стал во главе, Уродка села по правую от него руку.

— Уильямс, мой дорогой.

Старик указал Дэвиду на место справа от Уродки. Пришли Матильда и Мышь, неся небольшую супницу, блюдо crudites²² и другое — с холодными мясными закусками, сливочное масло. Суп предназначался для Бресли. Он продолжал стоять, дожидаясь — стародавняя галантность, — когда Мышь займет свое место. Усадив ее, он нагнулся и нежно поцеловал ее в темя. Девушки обменялись ничего не говорившим взглядом. Несмотря на различие во внешности и умственном развитии, легко было заметить, что они близки и понимают друг друга без слов. Мышь налила старику супа. Тот заправил угол большой салфетки под рубашку между двумя пуговицами и расстелил ее на коленях. Уродка движением головы показала, чтобы Дэвид брал еду первым. Экономка прошла в угол комнаты, зажгла керосиновую лампу и, поднеся ее к столу, поставила на свободное место напротив Дэвида. По пути на кухню протянула руку к выключателю и погасила свет. Но в верхнем коридоре, выступавшем над дальним концом этого помещения, продолжала гореть невидимая лампочка, выхватывавшая из темноты изящную диагональ старинной лестницы. За окнами, над кронами деревьев, едва розовели последние отсветы заката, лица сидевших за столом заливало спокойное молочное сияние лампы; Мышь взяла бутылку — этикетки на ней почему-то не было — и налила вина Дэвиду, старику и себе. Уродка, по-видимому, не пила, да и к еде почти не притрагивалась. Сидела, положив голые бронзовые локти на стол, и подбирала с тарелки кусочки свежих овощей, то и дело поглядывая своими темными глазами на Мышь. Дэвида она словно не замечала. В комнате стало тихо — казалось, все ждали, когда Бресли даст знак начать разговор. Но молчание не смущало Дэвида: он сильно проголодался и к тому же чувствовал себя гораздо непринужденнее после того, как девушка, сидевшая напротив него, так хорошо прояснила обстановку. Свет лампы создавал впечатление покоя, делал все это похожим на полотно Шардена или Жоржа де ла Тура. Тут Уродка вдруг поперхнулась. Дэвид метнул на нее взгляд: нет, она давилась не пищей, а от смеха.

— Идиотка, — пробормотала Мышь.

— Извините.

Она крепко сжала губы и откинулась на спинку стула, силясь сдержать

смех, потом схватила салфетку, прижала ее к лицу и выскочила из-за стола. Отойдя шагов на пять-шесть, остановилась спиной к остальным. Бресли продолжал спокойно есть суп. Мышь улыбнулась Дэвиду:

— Не принимайте на свой счет.

— Дать бы ей как следует по мягкому месту, — проворчал Бресли.

Уродка продолжала стоять, выставив на обозрение свой длинный позвоночник и смуглую тощую шею, покрытую рыжим пушком. Потом отошла прочь, в полумрак, к камину.

— А Мышь-то — ваша поклонница, Уильямс. Она вам говорила?

— Да, мы с ней уже учредили общество взаимного восхищения.

— Очень разборчивое создание, наша Мышь.

Дэвид улыбнулся.

— По стопам Пифагора, да?

И старик продолжал поглощать суп. Дэвид взглянул на Мышь, как бы вызывая к ней о помощи.

— Генри спрашивает, увлекаетесь ли вы абстракцией.

Дэвид слышал, как старик, уперев взгляд, в ложку с супом, пробормотал:

— Обструкция.

— Да. Боюсь, что это... правда.

Еще не успев поймать быстрый взгляд Мыши, он понял, что допустил ошибку. Старик ухмыльнулся:

— Почему же боитесь, мой друг?

Дэвид небрежно ответил:

— Это всего лишь риторическая фигура.

— Говорят, очень умственно. Мышь сказала: вызываете большой восторг.

— Als ich kann,⁴⁶ — пробормотал Дэвид.

Бресли поднял глаза.

— Повторите?

В это время у стола вдруг появилась Уродка. В руке у нее были три розовые хризантемы, вынутые из вазы, которую Дэвид видел на камине. Один цветок она положила рядом с ним, другой — со стариком и третий — с Мышью. Потом села на стул и сжала руки на коленях. Бресли протянул руку и отечески потрепал ее по плечу.

— Так что вы сказали, Уильямс?

— Работаю в меру своих способностей. — И поспешно добавил: — Я скорее надеялся бы идти по стопам... — Но тут же понял, опять с опозданием, что делает вторую ошибку.

— По чьим стопам, мой друг?

— Брака?

Это была уже явная ошибка. У Дэвида перехватило дух.

— Вы имеете в виду его кубистскую бессмыслицу?

— Для меня она имеет смысл, сэр.

Старик помолчал. Еще поел супа.

— Все мы в молодости — отродье ублюдков. — Дэвид улыбнулся и хотел было возразить, но прикусил язык. — Много зверств видел в Испании. Невыразимые вещи. На войне бывает. Не только они. Наши — тоже. — Доев суп, он положил ложку, откинулся назад и устремил взгляд на Дэвида. — Бой окончен, мой дорогой. Думали хладнокровно прикончить меня? Я на это не иду.

— Как меня и предупреждали, мистер Бресли.

Старик вдруг расслабился, в его глазах блеснул веселью огонек.

— Тем более если знали, мой мальчик.

Дэвид развел руками: он знал. Мышь спросила:

— Хочешь еще супа, Генри?

— Слишком много чеснока.

— Вчера было ничуть не меньше.

Старик что-то буркнул и потянулся к бутылке. Уродка подняла руки и прочесала пальцами волосы, словно боясь, как бы они не прилипли к коже; потом, не опуская рук, слегка повернулась к Дэvidу:

— Нравится вам моя татуировка?

В подмышечной впадине у нее синело изображение маргаритки.

До конца ужина Дэвид, по молчаливому уговору с Мышью, старательно избегал разговора об искусстве. В этом ему помогала сама еда: quenelles²³ из щуки под соусом beurre blanc²⁴ (таких блюд он ни разу еще не пробовал), баранина pre sale²⁵. Беседовали о французской кухне, потом о Бретани, о характере бретонца. Дэвид узнал, что Котминэ находится в Верхней Бретани, а не в Basse²⁶, то есть не в Bretagne Bretonnante²⁷, что дальше к западу и где местный язык еще не вышел из употребления. «Кот» (coet) означает дерево или лес, а «минэ» (minais) происходит от слова «монахи». Окружающие леса принадлежали некогда аббатству. Эту часть истории они опустили — говорили лишь о той, которую обозначает слово «coet». Беседа шла главным образом между Мышью и Дэвидом, хотя Мышь время от времени поворачивалась к Бресли, как бы прося его подтвердить или дополнить сказанное. Уродка не произнесла почти ни

слова. Дэвид уловил разницу в их положении: Мыши позволялось иметь свое «я», Уродку же просто терпели. Как выяснилось в процессе разговора, она тоже когда-то изучала искусство, только занималась графикой, а не живописью. Познакомились они в Лидсе. Но она производила впечатление человека, который не слишком высоко ставит свои познания, — эта компания была ей не по плечу.

Старик, казалось, был доволен своей маленькой победой и настроился предстать перед Дэвидом, насколько возможно, таким же, каким тот видел его до ужина. Но если Мыши удавалось направлять разговор в безопасное русло, то ей не удавалось мешать Бресли пить. Сама она пила очень мало, Дэвид тоже потерял надежду угнаться за хозяином. Из armoire извлекли вторую бутылку, но и она к концу ужина опустела. Глаза Бресли помутнели. Пьяным он не выглядел, бокал держал уверенно — лишь взгляд выдавал, что стародавний демон снова овладел им. Фразы, которые он время от времени бросал, становились все короче — казалось, он никого уже не слушал. Когда Мышь пожаловалась, что они совсем не бывают в кино, беседа переключилась на фильмы, которые Дэвид видел в последнее время в Лондоне. Но старик оборвал разговор на полуслове.

— Еще бутылку, Мышь.

Девушка посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону.

— В честь нашего гостя.

И тем не менее Мышь колебалась. Старик уперся взглядом в пустой бокал, поднял его и поставил на стол. Не резко, не раздраженно, но с некоторой долей нетерпения. Мышь встала и пошла к armoire. Очевидно, настал момент, когда лучше было уступить, чем настаивать. Бресли развалился на стуле и уставился из-под нависшей на лоб седой челки на Дэвида, на лице его застыла почти добродушная улыбка. Уродка, глядя в стол, спросила:

— Генри, можно мне пойти прилечь?

Бресли продолжал смотреть на Дэвида.

— Зачем?

— Книгу читаю.

— Ты чертова кукла.

— Ну, пожалуйста.

— Ладно, проваливай.

Он даже не удостоил ее взглядом. Мышь принесла третью бутылку. Уродка с мольбой посмотрела на подругу, словно требовалось и ее разрешение. Та едва заметно кивнула, и в тот же миг Дэвид почувствовал,

как пальцы Уродки на секунду сжали его ногу выше колена. Она протянула руку под столом, явно желая его подбодрить. Потом встала, пересекла комнату и пошла по лестнице вверх. Бресли придвинул бутылку к Дэвиду. Это был не жест вежливости, а вызов.

— Благодарю, с меня хватит.

— Коньяк? Кальвадос?

— Нет, спасибо.

Старик наполнил свой бокал до краев.

— Марихуана? — Он кивнул в сторону лестницы. — Это и есть книга, которую она будет читать.

Мышь спокойно возразила:

— Она этим больше не занимается. Ты же прекрасно знаешь.

Он сделал большой глоток.

— А по-моему, все вы, молодые сопляки, этим занимаетесь.

— Ко мне это не относится, — как бы между прочим сказал Дэвид.

— Мешает пользоваться логарифмической линейкой, да?

— Возможно. Но я не математик.

— Тогда как же вы это называете?

Мышь сидела опустив глаза. Помочь Дэвиду она уже не могла — разве что в роли молчаливой свидетельницы. Не было смысла притворяться, будто не ясно, что старик подразумевает под словом «это». Дэвид встретился взглядом с Бресли.

— Мистер Бресли, большинство из нас полагает, что термин «абстракция» утратил смысл. Учитывая, что наше представление о реальности сильно изменилось за последние пятьдесят лет.

Старик, казалось, задумался над тем, что услышал, но ненадолго.

— Я называю это изменой. Величайшей изменой в истории искусства.

От вина его щеки и нос покраснели, глаза сделались почти матовыми. Он по-прежнему сидел развалясь, только повернул свое кресло так, чтобы смотреть в лицо Дэвиду. В то же время он таким образом очутился ближе к девушке. За ужином Дэвид, слишком увлекся беседой с нею, был слишком внимателен... это он теперь понял, да к тому же старик, должно быть, следил за их беседой и до ужина. И теперь решил показать себя ее хозяином.

— Триумф евнуха. Вот так-то.

— Но это все-таки лучше, чем триумф кровавого диктатора?

— Ничем не лучше. Все дерьмо. И Гитлер дерьмо. Или ничтожество.

Мышь, не глядя на Дэвида, пояснила:

— Генри считает, что абстрактное искусство есть бегство от

ответственности перед человеком и обществом.

Дэвид решил было, что Мышь солидарна с Бресли, потом догадался, что она просто взяла на себя роль переводчицы.

— Но разве философии не нужна логика? А прикладной математике не нужна чистая форма? Так же и искусство должно иметь свои основы.

— Бред. Не основы. Зады. — Старик кивнул на Мышь. — Пара сисек и... И все, что положено. Такова реальность. А не ваши дурацкие теории и педерастические краски. Я знаю, Уильямс, против чего вы все ополчились.

Мышь тем же ровным, невозмутимым тоном перевела:

— Вы боитесь человеческого тела.

— Просто меня больше интересует разум, чем половые органы.

— Да поможет бог вашей жене.

— Кажется, мы говорили о живописи, — спокойно заметил Дэвид.

— Сколько у вас было женщин, Уильямс?

— Это не ваше дело, мистер Бресли.

Наступила напряженная пауза, старик глядел неподвижным взглядом, соображая, что сказать в ответ; сцена эта напомнила поединок фехтовальщиков, снятый замедленной съемкой.

— Кастрация. Вот ваши правила игры. Разрушение.

— Есть более страшные разрушители, чем нефигуративное искусство.

— Бред.

— Попробуйте убедить в этом жителей Хиросимы. Или тех, кого жгли напалмом.

Старик сердито фыркнул. И снова — молчание.

— Точные науки лишены души. Беспомощны. Крыса в лабиринте.

Он допил свой бокал и потребовал нетерпеливым движением руки, чтобы Мышь налила ему еще. Дэвид молча сидел, хотя его так и подмывало встать из-за стола и спросить, зачем его вообще приглашали в Котминэ. Он чувствовал, что готов в любую минуту сорваться, несмотря на предостережение девушки. Разговор перешел на грубую брань и личности, и Дэвид понимал, что пытаться защитить себя или привести разумные доводы — значит подлить масла в огонь.

— Знаю я вашего брата. — Старик, уставясь на полный бокал, отрывисто выбрасывал слова. — Предали крепость. Продали. Называете себя авангардом. Экспериментаторы. Как бы не так. Государственная измена — вот что это такое. Научная похлебка. Пустили под откос всю честную компанию.

— Абстрактная живопись — уже не авангард. И разве лучшая пропаганда гуманизма не основана на свободе творчества?

Снова пауза.

— Трепотня.

Дэвид принужденно улыбнулся.

— Значит, назад, к социалистическому реализму? К контролю со стороны государства?

— А вас что контролирует, Уилсон?

— Уильямс, — поправила Мышь.

— Бросьте эту либеральную болтовню. Наслушался я ее на своем веку. Игра по правилам. Труссы. — Бресли нацелился на Дэвида пальцем. — Я слишком стар для этого, мой мальчик. Слишком много повидал. Слишком много людей погибло во имя порядочности. Терпимость. Чтоб зады себе не перепачкать.

Он презрительно, залпом осушил бокал и протянул руку к бутылке. Горлышко стукнулось о край бокала, вино расплескалось. Мышь взяла у него наполненный до краев бокал и отлила немного себе, потом спокойно вытерла стол перед стариком. Дэвид молчал. Он чувствовал, что раздражение прошло, но ему было неловко.

— Хорошие вина — знаете, как их делают? Подливают мочи. Мочатся в бочку. — Он нетвердой рукой поднес бокал ко рту, потом поставил на место. Паузы в его речи становились все длиннее. — Десяток англичан не стоит и мизинца одного француза. — Еще одна пауза. — Не масло. Пигмент. Сплошное дерьмо. Если это может пойти кому-то на пользу. Merde. Экскременты. Excrementum. Вот что растет. Вот она, ваша основа. А вовсе не ваши чертовы штучки хорошего абстрактного вкуса... — Он снова умолк, как бы придумывая, что бы еще добавить. — Я даже для подтирки их не возьму.

Наступила тягостная тишина. Из леса донесся крик совы. Девушка сидела несколько поодаль от стола, опустив глаза, положив руки на колени; она, казалось, приготовилась ждать целую вечность, пока не кончится это несвязное бормотание старика. Дэвид подумал: как часто приходится ей сносить этот чудовищный богемный пьяный бред? К чему опять ломать копья, когда вопрос этот давно решен — de facto и de jure²⁸ — еще задолго до рождения Дэвида? Не всякая форма естественна, а цвет не подчинен ей... Споры на эту тему так же излишни, как споры о знаменитой теории относительности Эйнштейна. Ведь расщепили же атомное ядро. Можно оспаривать применение, но не принцип. Так думал Дэвид. Лицо его покраснелось от волнения. Да и выпил он тоже больше обычного.

— Разочаровались во мне, Уильямс? Спился, мол, старик? In vino²⁹

растрчивает себя.

Дэвид покачал головой:

— Нет. Просто нахожу, что переоценивал вас.

Снова молчание.

— Вы действительно живописец, Уильямс? Или всего-навсего бездарный пустобрех?

Дэвид не ответил. Снова молчание. Старик отпил из бокала.

— Скажите что-нибудь.

— Ненависть и раздражение — роскошь, которую мы не в состоянии себе позволять. Кем бы мы ни были.

— Тогда — да поможет вам Бог.

Дэвид усмехнулся:

— Его именем тоже злоупотреблять не стоит.

Мышь нагнулась к столу и налила старику еще вина.

— Когда я был молодым, знаете, что значило подставить щеку? Как называли парня, который подставляет щеку?

— Нет.

— Юродивым. Вы, Уилсон, юродивый?

На этот раз Мышь не сочла нужным поправлять его, а Дэвид не счел нужным отвечать.

— Стань на колени и спусти штаны. Это все решает, так?

— Нет, не решает. Так же, как и страх.

— Как что?

— Боязнь потерять... то, чего отнять нельзя.

Старик недоуменно смотрел на него.

— Что он болтает?

Мышь спокойно объяснила:

— Он хочет сказать, Генри, что твоему искусству и твоим взглядам на искусство ничего не угрожает. Места хватит всем.

Она не взглянула на Дэвида, но немного подалась вперед, отодвинулась от старика и, поставив локоть на край стола, подперла ладонью подбородок, а затем незаметно приложила палец к губам, давая Дэвиду знак молчать. Снаружи вдруг послышался неистовый, тревожный лай Макмиллана и в тот же миг — громкий голос мужа экономки. Ни старик, ни девушка не обратили на шум никакого внимания: видимо, для них это были привычные ночные звуки. Дэвиду же они показались чрезвычайно символическими, чреватými опасностями — отзвуками напряженного внутреннего мира старика.

— Такая теперь мода, да?

Мышь посмотрела на Дэвида. В глазах ее мелькнул веселый огонек.

— По мнению Генри, нельзя относиться терпимо к тому, что считаешь дурным.

— Старая история. Сиди на чертовом английском заборе. Голосуй за Адольфа.

Молчание. И вдруг заговорила Мышь:

— Генри, нельзя бороться с идеями тоталитаризма тоталитарными методами. Так ты лишь способствуешь их размножению.

До его притупленного сознания, видимо, дошло, что она приняла сторону Дэвида. Старик отвел взгляд — туда, где у другого края стола сгущалась тень. Бутылка с остатками вина стояла теперь слева от Мыши, вне пределов его досягаемости.

— Хотелось бы сказать вам кое-что, — медленно проговорил он.

Не было ясно, что он имел в виду: то ли «я не намеревался оскорблять вас лично», то ли «забыл, что хотел сказать».

Дэвид пробормотал:

— Да, я понимаю.

Старик снова перевел взгляд на него. Глаза его с трудом удерживали фокус.

— Как вас зовут?

— Уильямс. Дэвид Уильямс.

— Допивай вино, Генри, — сказала Мышь.

— Не в ладах со словами. Никогда не был силен.

— Ничего, мне понятно.

— Нет ненависти — не можешь и любить. Не можешь любить — не можешь писать.

— Ясно.

— Чертова геометрия. Не годится. Не помогает. Все пробовали. Псу под хвост. — Глаза Бресли смотрели на Дэвида с отчаянной сосредоточенностью, почти впивались в него. Старик явно потерял ход мыслей.

Мышь подсказала:

— Создавать — значит говорить.

— Нельзя писать без слов. Линии.

Девушка окинула комнату взглядом. Голос ее звучал очень ровно:

— Искусство есть форма речи. Речь должна опираться на то, что нужно человеку, а не на абстрактные правила грамматики. Ни на что, кроме слова. Реально существующего слова.

— И еще: идеи. Ни к чему.

Дэвид кивнул. Мышь продолжала:

— Отвлеченные понятия в самой своей основе опасны для искусства, потому что отвергают реальность человеческого существования. А единственный ответ фашизму — это реальность человеческого существования.

— Машина. Как ее? Компьютер.

— Понимаю, — сказал Дэвид.

— Ташист. Фотрие. Этот малый — Вольс. Как испуганные овцы. Кап, кап, — Бресли немного помолчал. — Этот янки, как его зовут?

Дэвид и Мышь ответили в один голос, но он не понял. Тогда Мышь повторила имя.

— Джексон Боллок. — Бресли снова устремил взгляд в темноту. — Лучше уж чертова бомба, чем Джексон Боллок³⁰.

Все умолкли. Дэвид разглядывал старинный стол из потемневшего дуба — исцарапанный, потертый, покрытый вековой патиной; сколько старческих голосов прозвучало здесь за столетия, голосов, отгонявших прочь угрожающую, беспощадную приливную волну! Как будто у времени бывают отливы.

Но вот старик заговорил; голос его звучал удивительно чисто, точно до этого он только притворялся пьяным и теперь подытоживал сказанное последней несуразицей:

— Башня из черного дерева. Вот как я это понимаю.

Дэвид взглянул вопросительно на девушку, но та уже не смотрела на него. Поставить точку стало явно куда важнее, чем продолжать интерпретировать Бресли. Теперь было ясно, что старик отнюдь не притворялся пьяным: Дэвид видел, как он шарит своими мутными глазами по столу. Вот он уткнулся, наконец, взглядом в бокал (а может быть, сразу в несколько бокалов) и решительно, но с усилием протянул руку. Мышь, опередив его, взяла бокал за ножку и осторожно вложила в руку старика. Тот с трудом донес его до рта и хотел опорожнить залпом. Вино потекло по подбородку, закапало на белую рубашку. Мышь схватила свою салфетку и приложила к его груди.

— А теперь спать, — сказала она.

— Еще капельку.

— Нет. — Она взяла недопитую бутылку и поставила на пол рядом со своим стулом. — Все уже выпито.

Глаза старика нашли Дэвида.

— Qu'est-ce qu'il fout ici?³¹

Девушка встала и, взяв его под локоть, хотела помочь ему подняться. Он сказал:

— Спать.

— Да, Генри.

Но он продолжал сидеть в пьяном оцепенении — очень старый, чуть сторбившийся. Девушка терпеливо ждала. Ее опущенный взгляд встретился со взглядом Дэвида, странно серьезный, точно она боялась прочесть в его глазах презрение из-за той роли, которую она на себя взяла. Он молча ткнул себя пальцем в грудь: «Могу я быть полезен?» Она кивнула, но подняла палец кверху:

«Не сейчас». А спустя мгновение нагнулась и поцеловала старика в висок.

— Пойдем же. Попробуй встать.

Старик привстал с видом послушного, застенчивого ребенка, упершись в край стола. Ноги плохо держали его, и он пошатнулся, едва не упав на стол. Дэвид поспешил поддержать его с другой стороны. И вдруг старик снова рухнул на кресло. Тогда они подняли его сами. Лишь направившись с ним к лестнице, они по-настоящему поняли, насколько он пьян. Глаза его были закрыты — казалось, он потерял сознание; лишь каким-то чудом — то ли инстинктивно, то ли по давней привычке — продолжал переставлять ноги. Мышь сняла с него галстук-бабочку и расстегнула ворот рубашки. Наконец они втащили его по лестнице наверх, в большую комнату, обращенную окном на запад.

Дэвид заметил, что в комнате две кровати: двуспальная и односпальная. Уродка, лежавшая на односпальной, при виде Дэвида встала. Она была по-прежнему в черном платье, только поверх него натянула еще белый джемпер. Здесь на стенах тоже висели картины и рисунки, а у окна на столе стояли банки с пастелью и карандашами.

— Ах, Генри. Старый проказник.

Мышь кивнула Дэвиду поверх поникшей головы старика:

— Теперь мы сами справимся.

— Вы уверены?

Бресли пробормотал:

— Туалет.

Девушки подхватили его под руки и повели к боковой двери. Все трое исчезли в ванной, оставив растерянного Дэвида одного. Случайно взгляд его остановился на картине, висевшей над кроватью. Брак — он уже где-то видел репродукцию. Должно быть, она числилась в «частном собрании», но он никак не предполагал, что ее владельцем может быть Бресли. Он

криво усмехнулся, вспомнив недавний разговор: какое было все-таки мальчишество в поисках самозащиты козырять этим именем перед стариком, пытаться установить связь между собой и этим художником. Из ванной вышла и закрыла за собой дверь Уродка. Вот и еще несоответствие — с одной стороны, картина, которую на любом аукционе оценят шестизначной цифрой, с другой — маленькое существо сомнительной с виду репутации, стоявшее перед ним в другом конце комнаты. Слышно было, как старика рвет.

— Он каждый вечер такой?

— Иногда. — Она слабо улыбнулась. — Не в вас дело. В других.

— Помочь мне раздеть его?

Она покрутила головой.

— Не беспокойтесь. Право же. Мы к этому привыкли. — Видя, что он с сомнением смотрит на нее, она повторила: — Право же.

Он хотел сказать, насколько восхищен тем, что они обе для старика делают, и вдруг обнаружил, что не находит нужных слов.

— Ну... тогда пожелайте спокойной ночи... Не знаю ее настоящего имени.

— Ди. Диана. Спокойной ночи.

— И вам тоже.

Она плотно сжала губы и попрощалась с ним легким кивком головы. Он ушел.

Придя к себе, он надел пижаму, лег на кровать и, опершись на локоть, взял детективный роман, который купил по дороге. Он решил, что спать еще рано — надо быть готовым на тот случай, если им опять понадобится его помощь; к тому же нечего было и думать о сне, несмотря на усталость. Он даже читать не мог, пока не прошло возбуждение. Вечер был из ряда вон выходящий, и Дэвид впервые порадовался, что Бет не поехала. Она сочла бы, что это выше ее сил, и, вероятно, потеряла бы самообладание. Хотя нельзя не признать, что эта жестокая перепалка раскрыла все слабые стороны старика. В сущности, перед ним был взбалмошный ребенок. А Диана — молодец: с каким потрясающим умением она с ним управлялась; девчонка что надо, да и вторая тоже. Наверняка в ней есть что-то лучшее, неразличимое с первого взгляда: лояльность, мужество своего рода. Вспомнились спокойная речь Мыши, точность ее суждений, ее завидное хладнокровие — интересно, какое он, Дэвид, произвел на нее впечатление. Вспомнился скептически-насмешливый разговор с Бет о том, оправдает ли старик свою репутацию. Бет пригрозила, что, если тот не потискает ее хотя бы два раза, она потребует деньги назад... Ну что ж, по крайней мере эта

сторона личности старика теперь известна. Дэвиду будет что рассказать, когда он вернется домой. Он попробовал сосредоточиться на детективном романе.

Прошло минут двадцать с тех пор, как он предоставил девушек их тирану. Дом погрузился в безмолвие. Но вот до его слуха донесся звук открывающейся двери, легкие шаги по коридору, скрип половицы у порога его комнаты. После короткой паузы раздался тихий стук в дверь.

— Войдите.

В приоткрытой двери показалась голова Мыши.

— Увидела, что у вас еще свет. Все в порядке, он спит.

— Я как-то не отдавал себе отчета, что он настолько опьянел.

— Нам иногда приходится позволять ему лишнее. А вы хорошо держались.

— Я рад, что вы предупредили меня.

— Завтра он будет каяться. Кроткий, как ягненок. — Она улыбнулась. — Завтрак часов в девять? Впрочем, неважно. Спите сколько хотите.

Она собралась уходить, но он остановил ее:

— А что все-таки означали его последние слова? Башня из черного дерева?

— О... — Мышь улыбнулась. — Ничего. Одно из его осадных орудий. — Она склонила голову набок. — То, что, по его мнению, пришло на смену башне из слоновой кости.

— Абстракция?

Она покачала головой.

— Все то, из-за чего он не любит современное искусство. Все, что неясно, потому что художник боится быть понятным... в общем, вы знаете. Человек слишком стар, чтобы копаться в материале, и все сваливает в кучу. Но к вам лично это не относится. Он не может выразить свою мысль, не обидев собеседника. — Мышь опять улыбнулась, все так же продолжая выглядывать из-за двери. — О'кей?

Он улыбнулся в ответ и кивнул.

Голова Мыши исчезла, но девушка пошла не в комнату старика, а дальше по коридору. Скоро тихонько щелкнул дверной замок. Жаль — ему хотелось поговорить с ней подольше. Знакомый мир, где люди учатся и преподают: одни студентки тебе нравятся, другим — ты нравишься; атмосфера Котминэ в какой-то мере напомнила ему то время, когда в его жизнь еще не вошла Бет, но не потому, что он очень уж увлекался студентками и волочился за ними. Они с Бет были мужем и женой задолго

до того, как вступили в официальный брак.

Дэвид почитал немного, потом выключил свет и, как обычно, почти тотчас погрузился в сон.

И опять Мышь оказалась права. В том, что наступило горькое раскаяние, Дэвид убедился, как только спустился ровно в девять утра вниз. Он стоял в нерешительности у подножия лестницы, не зная, куда идти завтракать, а в это время в холл со стороны сада вошел Бресли. Для человека, который всю жизнь много пьет, а потом стремится восстановить силы, старик выглядел удивительно бодрым и подтянутым — в светлых брюках и синей спортивной рубашке.

— Мой дорогой. Невыразимо сожалею о вчерашнем. Девушки сказали, что я был возмутительно груб.

— Ну что вы. Пустяки, право.

— Нализался страшно. Скандал.

Дэвид улыбнулся.

— Все уже забыто.

— Проклятие моей жизни. Так и не научился вовремя останавливаться.

— Не принимайте близко к сердцу, — сказал Дэвид и пожал протянутую руку старика.

— Очень великодушно с вашей стороны, мой друг. — Старик удержал его руку, в глазах мелькнула насмешка. — Я, видимо, должен звать вас Дэвид. По фамилии нынче уж очень церемонно. Верно?

Слово «церемонно» он произнес так, точно это было какое-то смелое жаргонное выражение.

— Пожалуйста.

— Великолепно. А меня зовите Генри. Да? А теперь пойдем перекусим чего-нибудь. По утрам мы едим на кухне.

Когда они шли по большой комнате нижнего этажа, Бресли сообщил:

— Девушки предлагают небольшой *dejeuner sur l'herbe*³². Пикник. Неплохая мысль, а? — За окнами сияло солнце, над кронами деревьев висела легкая дымка. — Горжусь своим лесом. Стоит взглянуть.

— С удовольствием, — сказал Дэвид.

Девушек на кухне не было. Они, как выяснилось, давно уехали в Плелан, ближайшую деревню, за продуктами... будто нарочно (или так Дэвиду подумалось), чтобы дать старику возможность реабилитировать себя. После завтрака они прогулялись по усадьбе. Бресли с гордостью показал гостю свой огород, щеголяя, видимо, недавно приобретенными познаниями по части названий растений и агрономических приемов. За

восточной стеной дома они встретили Жан-Пьера, рыхлившего грядки; прислушиваясь к беседе старика с мужем экономки о больном тюльпанном деревце и о том, как его лечить, Дэвид вновь испытал уже знакомое приятное чувство, подсказывавшее, что в жизни Бресли главное — вовсе не вчерашний «рецессивный» приступ злобы. Видно было, что старик привык к Котминэ, привык к местной природе; когда они, осмотрев огород, прошли во фруктовый сад и остановились перед старым деревом со спелыми плодами, Дэвида угостили грушей, которую рекомендуется есть прямо с дерева, и старик, разговорившись, признался, что считает себя глупцом: надо же было провести почти всю жизнь в городе и оставить так мало времени для радостей сельской жизни. Дэвид, проглотив кусок груши, спросил, почему это открытие пришло так поздно. Бресли презрительно фыркнул, давая понять, что недоволен собой, потом ткнул тростью в упавшую на землю грушу.

— Сука Париж, мой друг. Знаете эти стихи? Граф Рочестерский, не так ли? «В какой нужде ни приведется жить, найдешь клочок земли, чтоб семя посадить». Прямо в точку. Этим все сказано.

Дэвид улыбнулся. Они двинулись дальше.

— Зря не женился. Было бы гораздо дешевле.

— Зато много потеряли бы?

Старик снова презрительно фыркнул.

— Одна ничем не отличается от другой, а?

Он явно не почувствовал иронии этой фразы: ведь и «одна» ему уже не по зубам; и словно в подтверждение его слов на подъездной дороге, ведущей из внешнего мира, появился маленький белый «рено». За рулем сидела Мышь. Она помахала им рукой, но не остановилась. Дэвид и Бресли повернули назад, к дому. Старик показал тростью на машину:

— Завидую вам, ребята. В мои молодые годы девушки были не такие.

— Я полагал, что в двадцатые годы они были восхитительны.

Старик поднял палку в знак категорического несогласия.

— Полнейший вздор, мой друг. Не представляете. Полжизни уговариваешь, чтоб она легла с тобой. И полжизни жалеешь, что легла. А то еще и похуже. Триппер схватишь от какой-нибудь шлюхи. Собачья жизнь. Не понимаю, как мы ее сносили.

Но Дэвид остался при своем мнении и знал, что другого от него и не ждут. В душе старик ни о чем не жалел, а если и жалел, то лишь о невозможном, о другой жизни. Беспокойная чувственность молодых лет все еще не покидала старого тела; внешность его никогда не была особенно привлекательной, но жила в нем какая-то неумная дьявольская сила,

бросавшая вызов единобрачию. Дэвид попробовал представить себе Бресли в молодости: неудачник, равнодушный к своим бесчисленным неудачам, до крайности эгоистичный (в постели и вне ее), невозможный — и потому в него верили. А теперь даже те многочисленные скептики, что, должно быть, отказывались в него верить, были спокойны: он добился всего — известности, богатства, женщин, права быть таким, каким был всегда; эгоизм стал его ореолом, у него был свой мир, где удовлетворялась малейшая его прихоть, а весь остальной мир находился далеко, за зеленым лесным морем. Людям, подобным Дэвиду, всегда склонным рассматривать свою жизнь (как и свою живопись) в виде нормального логического процесса и считающим, что будущие успехи человека зависят от его умения сделать разумный выбор сейчас, это казалось не совсем справедливым. Разумеется, Дэвид понимал, что успеха никогда не добьешься, следуя правилам, что известную роль здесь играют случай и все остальное, подобно тому, как живопись действия и живопись момента составляют, по крайней мере теоретически, важную часть спектра современного искусства. И тем не менее созданный им образ продолжал жить в сознании: на вершине славы стоял старый, самодовольно улыбающийся сатир в ковровых домашних туфлях, с радостью посылающий проклятия здравому смыслу и расчету.

В одиннадцать часов они двинулись по длинной лесной дороге в путь: девушки с корзинами в руках шли впереди, Дэвид со стариком — за ними; он нес синий складной шезлонг с алюминиевым каркасом, который Бресли пренебрежительно называл переносным диваном для престарелых. Мышь настояла, чтобы они взяли его с собой. Старик шел, перекинув плащ через руку, на голове у него была старая помятая панама с широкими полями; с видом обаятельного феодала он показывал тростью то на тенистые заросли, то на светлые поляны, то на особенно примечательные перспективы «своего» леса. Разговор начал возвращаться к тому, ради чего Дэвид предпринял эту поездку. Безмолвие, какое-то странное отсутствие птиц — как изобразить безмолвие на полотне? Или театр. Замечал ли когда-нибудь Дэвид, что пустая сцена имеет свои особенности?

Но Дэвид больше думал сейчас о том, как использовать все это во вступительной статье. «Всякий, кому выпадает счастье пройти с мастером...», — нет: «...с Генри Бресли по его любимому Пемпонскому лесу, который и теперь еще щедро вдохновляет его...» Дымка над лесом рассеялась, погода стояла удивительно теплая — скорее августовская, чем сентябрьская. Чудесный день. Нет, нельзя так писать. Тем не менее подчеркнутая предупредительность старика радовала: приятно было

сознавать, что вчерашнее боевое крещение неожиданно обернулось благом. То, что дух средневековой бретонской литературы, если не ее символы и аллегории, сказался на серии Котминэ, — факт общеизвестный, хотя Дэвид и не смог установить — сам Бресли публично об этом не высказывался, — насколько ее воздействие было действительно велико. Перед тем как отправиться в Котминэ, он полистал справочную литературу, но сейчас решил не выказывать своей осведомленности; и обнаружил, что Бресли эрудированнее и начитаннее, чем можно было предполагать по его отрывистой, лаконичной речи. Старик объяснил, по обыкновению довольно бессвязно, неожиданное пристрастие к романтическим легендам в двенадцатом-тринадцатом веках, тайну острова Британия (нечто вроде Дикого Севера, а? Чем рыцари не ковбои?), слухи о котором поползли по Европе благодаря его французской тезке; внезапное увлечение любовными, авантюрными и колдовскими темами, значение некогда необъятного леса — того самого Пемпонского леса (у Кретьена де Труа он называется Броселиандским), по которому они сейчас шли, — как главного места действия; появление закрытого английского сада средневекового искусства, невероятное томление, символически изображенное в этих странствующих всадниках, похищенных красавицах, драконах и волшебниках, Тристане, Мерлине и Ланселоте...

— Все это чепуха, — сказал Бресли. — Отдельные места, понимаете, Дэвид. Лишь то, что необходимо. Что наводит на мысль. Точнее — стимулирует. — Потом он переключился на Марию Французскую и «Элидюка». — Хорошая сказка, черт побери. Прочел несколько раз. Как звали этого мошенника-швейцарца? Юнг, да? Похоже на его штучки. Архетипы и всякое такое.

Шедшие впереди девушки свернули на боковую, более узкую и тенистую дорогу. Бресли и Дэвид отставали от них шагов на сорок. Старик взмахнул тростью.

— К примеру, вот эти девицы. Прямо из «Элидюка».

Он принялся пересказывать содержание. Но в его стенографическом изложении произведение это напоминало скорее фарс в духе Ноэла Каурда, чем прекрасную средневековую легенду об обманутой любви, и, слушая его, Дэвид несколько раз подавлял улыбку. Да и внешность девушек (Уродка — в красной рубашке, черных бумажных штанах и резиновых сапогах, «веллингтонах», Мышь в темно-зеленой вязаной фуфайке — теперь Дэвид заметил, что она не всегда пренебрегает бюстгалтером, — и светлых джинсах) не помогала уловить сходство с героинями «Элидюка». Дэвид все больше и больше убеждался в правоте Мыши: беда старика в

том, что он почти не умеет выражать свои мысли словами. Чего бы он ни касался в разговоре, все приобретало в его устах если не пошлый, то уж обязательно искаженный смысл. Слушая его, надо было все время помнить, как он передает свои чувства с помощью кисти, — разница получалась громадная. Его творчество создавало представление о нем, как о человеке впечатлительном и сложном, чего никак нельзя было предположить по его речи. Хотя такое сравнение и обидело бы его, он отчасти напоминал старомодного члена Королевской академии, гораздо более склонного выступать в роли изящной опоры отжившего общества, чем поборника серьезного искусства. В этом, очевидно, и заключалась одна из главных причин его постоянного самоизгнания: старик, конечно, понимал, что его особа уже не будет иметь веса в Великобритании семидесятых годов. Сохранить свою репутацию он может только оставаясь здесь. Конечно, ни одно из этих наблюдений нельзя включать во вступительную статью, но Дэвид находил их весьма интересными. У старика, как и у этого леса, были свои древние тайны.

Девушки остановились, поджидая мужчин. Они не знали точно, в каком месте надо сворачивать в лес, чтобы выйти к пруду, где намечалось устроить пикник. Поискали дуб с красным мазком на стволе. Мышь решила, что они уже пропустили его, но старик велел идти дальше и правильно сделал: пройдя еще около ста ярдов, они увидели этот дуб и, сойдя с дороги, стали пробираться между деревьями по отлогому склону. Скоро подлесок сделался гуще, впереди сверкнула полоска воды, а еще через несколько минут они вышли на поросший травой берег *etang*³³. Водоем этот скорее походил на небольшое озеро, чем на пруд: ярдов четырехста, если не больше, шириной от того места, где они остановились, а вправо и влево от них тянулась изогнутая линия берега. Посреди пруда плавало с десяток диких уток. Почти вплотную к воде подступал лес, вокруг — никаких признаков жилья; гладкая, как зеркало, вода голубела под ясным сентябрьским небом. Уголок этот показался Дэвиду знакомым, *déjà vu*³⁴. Бресли изобразил его на двух полотнах, появившихся в последние годы. Очаровательное место, чудом сохранившее первозданный вид. Они расположились в негустой тени одиноко стоявшей пихты. Разложили шезлонг, и Бресли с довольным видом тотчас же опустился в него и вытянул ноги; потом попросил поставить спинку в вертикальное положение.

— Ну давайте, девушки. Снимайте брюки — и купаться.

Уродка посмотрела на Дэвида и отвела глаза в сторону:

— Мы стесняемся.

— А вы, Дэвид, не хотите поплавать? С ними за компанию?

Дэвид посмотрел вопросительно на Мышь, но та склонила голову над корзинами. Предложение ошеломило его своей неожиданностью. О том, что будет купание, его не предупреждали.

— Ну что ж... может быть, потом?

— Вот видишь, — сказала Уродка.

— У тебя, может, кровотечение?

— О, Генри. Ради бога.

— Он женатый, милая. Видал все ваши прелести.

Мышь подняла голову и бросила на Дэвида не то виноватый, не то насмешливый взгляд:

— Купальные костюмы здесь считаются неэтичными. Они делают нас еще более несносными, чем обычно.

Она смягчила издевку улыбкой, обращенной к старику. Дэвид пробормотал:

— Разумеется.

Мышь посмотрела на Уродку:

— Пойдем на отмель, Энн. Там дно тверже. — Она достала из корзины полотенце и пошла, но теперь Уродка вроде бы застеснялась. Она бросила неприязненный взгляд на мужчин.

— К тому же старым любителям удобнее подсматривать за птичками.

Старик захохотал, она показала ему язык. Потом все же взяла полотенце и зашагала следом за подругой.

— Садитесь, друг мой. Это она вас дурачит. Ничего она не стесняется.

Дэвид сел на жесткую осеннюю траву. Сцена купания будто специально была придумана, чтобы продемонстрировать перед ним испытания, которым их подвергают, хотя прошедший вечер и без того, кажется, был достаточно наглядной демонстрацией. Ему казалось, что девушки вступили в маленький заговор: а теперь, мол, наша очередь тебя шокировать. Отмель — узкий, поросший травой мыс — врезалась в водную гладь пруда ярдов на шестьдесят. Как только девушки пошли по ней, утки с плеском взлетели, сделали большой круг над прудом и исчезли за кронами деревьев. На краю отмели девушки остановились, и Мышь стала раздеваться. Сняв фуфайку, она вывернула ее лицевой стороной наружу и бросила на траву. Потом расстегнула бюстгальтер. Уродка покосилась в сторону Дэвида и Бресли, потом скинула сапоги и спустила одну из лямок, на которых держались штаны. Мышь тем временем сняла джинсы вместе с трусиками, разделила их и, положив рядом с фуфайкой и бюстгальтером,

вошла в воду. Разделась и Уродка. Перед тем как последовать за подругой, она повернулась к мужчинам лицом и, раскинув руки в сторону, сделала нелепое, вызывающее движение, как во время стриптиза. Старик снова захохотал и коснулся тростью плеча Дэвида. Он сидел на своем троне, похожий на султана, любующегося обнаженными фигурами молодых рабынь. Когда они продвигались по отлогому дну к середине пруда, их загорелые спины четко выделялись на фоне лазурной воды. Потом Мышь резким движением окунулась и поплыла кролем. Плавала она довольно хорошо. Уродка вела себя осторожнее, боясь замочить свои драгоценные мелко завитые волосы; наконец, все так же осторожно, она опустилась в воду и медленно поплыла брасом.

— Жаль, что вы женаты, — сказал Бресли. — Им нужен крепкий мужик.

Во время ленча Дэвид почувствовал себя гораздо уверенней. Да и напрасно он конфузился. Если бы, к примеру, здесь была Бет... Они с ней и сами купались голышом, когда выезжали за город, специально искали безлюдные пляжи. И сейчас она не задумываясь присоединилась бы к девушкам.

Отчасти ему помог старик. Пока Мышь и Уродка купались, он возобновил беседу, вернее, как бы доказывая, что окончательно раскаялся, стал расспрашивать Дэвида о нем самом. Не о том, как и что он пишет — этих вопросов старик явно избегал — а о том, как попал «на эту стезю», — о его жизни, о родителях, о Бет и их детях. Даже выразил желание принять у себя все семейство: привезите как-нибудь жену и дочек, хочу познакомиться; люблю маленьких девчушек... Дэвиду, не лишенному тщеславия, это приглашение польстило. То, что произошло после ужина — хотя все это и было поставлено по дороге сюда в контекст средневековья, — было для него сущей мукой. Теперь совершенно ясно, что испытание он выдержал; оставалось выяснить, какую роль, помимо роли советчицы, сыграла тут Мышь. Не исключено, что, когда старик проспался, она напрямик высказала ему кое-какие истины, напомнив при этом, что его репутация, пусть ненадолго, отчасти в руках Дэвида.

Тем временем девушки вылезли из воды, вытерлись полотенцами и легли рядышком на мысе. Испытание, которому Дэвида подвергли, было как подводный риф; и теперь, миновав опасную зону, он почувствовал себя в тихой лагуне. Еще одно напоминание — на этот раз о Гогене: коричневые груди и сад Эдема. Как удивительно естественно вписываются в Котминэ и в его жизненный уклад такие моменты — чуточку мифические и не

подвластные времени. Несовременные. А вот настал и еще один такой момент. Девушки встали. То ли они пересмотрели свое понятие о скромности, то ли не захотели выслушивать насмешки старика, только с отменили возвращались раздетыми, неся одежду в руках. При этом они не выказывали никакого смущения; в их манере угадывалось некоторое сходство с нарочитым, невероятным безразличием обитателей нудистской колонии.

— Эй, мы есть хотим, — сказала Уродка.

Без одежды она казалась еще более похожей на мальчишку. Девушки опустили на колени и стали распаковывать корзины с припасами, а Дэвид помог Бресли передвинуться поближе к краю тени. Гоген исчез, уступив место Мане.

Немного погодя, во время еды, обнаженные тела девушек уже стали казаться чем-то вполне естественным. На старика они тоже подействовали умиротворяюще. Он больше не говорил непристойностей, на лице его появилось спокойное, убаготоренное, как у языческого божка, выражение. Аппетитные французские булки, коробочки с пирожными, которые девушки привезли из Плелана... вина не было: старик пил минеральную воду «виши», девушки — молоко, Дэвиду дали бутылку пива. Уродка сидела по-турецки. Было в ее облике что-то негроидное, аборигенное, гермафродитное (возможно, экзотическая прическа и очень смуглая кожа). Нечто такое, что продолжало отталкивать Дэвида психологически, хотя он и не вполне сознавал, что именно... Но если Мышь определенно начала проявлять своего рода разумное милосердие, то на поведении Уродки лежала печать бездумия, какой-то порочности. Хотя она и не отпускала двусмысленных шуточек, видно было, что собственная нагота в присутствии мужчин и возбуждает ее, и забавляет. Применительно к другим людям это принято называть «умением вести себя», применительно же к ней, при ее легко угадываемой искушенности, это было что-то другое — не моральное совращение, конечно, а как бы намек на то, что Дэвид получает нечто задаром, и это совпадало с его ощущением, что он должен еще показать ей, чего стоит. Его присутствие продолжало немного ей докучать. Дэвид не представлял себе, что еще можно узнать о ней, кроме того, что она нагловата, чуточку склонна к нарциссизму и ведет вполне определенный образ жизни, прикрывая жизненные неудачи. Она явно существовала за счет уравновешенности и искренности своей подруги и могла похвастаться лишь тем, что ее здесь терпят.

Отталкивала она Дэвида еще и своими физическими данными. Мышь, несмотря на хрупкость, обладала более женственной фигурой (длинные

ноги, небольшие, упругие груди). Она сидела напротив Дэвида, подобрав под себя ноги, упершись рукой в землю. Он подстерегал удобный момент, чтобы его не могли засечь, и украдкой оглядывал ее тело, когда она отворачивалась, чтобы достать что-нибудь из корзины. Говорили они на весьма банальные темы, и снова в сознании Дэвида замаячил призрак супружеской неверности — не то чтобы он об этом всерьез подумал, но если бы он не был женат, если бы Бет... Иными словами, Бет присущи известные недостатки: она не всегда понимает его, слишком практична в житейских делах, а вот Мышь, эта приятно сдержанная и в то же время открытая молодая женщина — хозяйка положения (Дэвид обнаружил в ней то, к чему стремился в своем творчестве: сочетание непредубежденности с прямоотой), не стала бы их демонстрировать и уж во всяком случае ими пользоваться — слишком она для этого умна. Нет, Дэвид не разлюбил Бет, он был доволен, что после Котминэ они встретятся и проведут время во Франции одни, без детей (в этом скрывалось молчаливое согласие Бет на материнство — согласие иметь третьего ребенка, на этот раз сына)... но искушение все же было. А почему бы и нет — вот только если бы он не был тем, что он есть, да к тому же если бы ему предложили... словом, такая возможность начисто исключалась или была крайне гадательна.

Кожа Мыши в местах, освещенных солнцем, отливала бронзой, там же, где на нее ложилась тень, казалась матовой, но более нежной. Соски, линии подмышечных впадин. Шрам на одном из пальцев ноги. Небрежно спутанные, подсыхающие соломенные волосы и миниатюрность, изящество линий в духе Quattrocento³⁵ (ее одежда и эти длинные юбки, которые она носила, создавали обманчивое впечатление) резко контрастировали с животным началом, которое присутствовало в ней. Она сидела к нему боком, лицом к пруду, и чистила яблоко; потом протянула одну четвертушку старику, другую — Дэвиду. Безукоризненная и волнующая чистота.

Для Генри наступило время сиесты. Уродка встала и опустила спинку шезлонга. Потом скользнула на колени и что-то шепнула старику на ухо. Тот протянул руку, обнял ее за талию, медленно передвинул руку к плечу и привлек к себе девушку; она наклонилась и коснулась губами его губ. Он сложил руки на животе, а она прикрыла ему глаза красным платком. Красиво очерченный рот, розовая луковица носа. Девушка встала, задержала на нем на некоторое время взгляд и, повернувшись к Дэвиду и Мыши, скорчила смешную гримасу.

Мышь улыбнулась Дэвиду и сказала:

— Свободное время. Теперь лучше отойти подальше, чтоб не мешать

ему.

Они встали. Девушки взяли полотенца, а Уродка вытащила из корзины свою книгу, затем все трое отправились на отмель, находившуюся ярдах в тридцати оттуда, вне слышимости старика. Девушки постелили полотенца и растянулись на животе, ногами к воде, подперев подбородок руками. Дэвид сначала сел футах в пяти-шести от них, а потом прилег, опершись на локоть. Почему-то совсем некстати вспомнилась картина: два малыша слушают елизаветинского моряка. Он взглянул на обложку книги, которую читала Уродка: «Маг». Наверно, астрология, что же еще может заинтересовать ее. Но она вдруг посмотрела на него с улыбкой и спросила:

— Жалеете, что приехали?

— Нет, что вы.

— Диана рассказала мне. О вчерашнем вечере. Извините. Я предвидела, чем это кончится, и не могла усидеть.

Он улыбнулся.

— Я и сам попросил бы разрешения уйти, если бы знал заранее.

Уродка поцеловала два пальца и тронула ими плечо Мыши.

— Бедняжка Ди. Я всегда предоставляю это ей.

Бедняжка Ди улыбнулась и опустила глаза. Дэвид спросил:

— Сколько же, вы думаете, сумеете еще здесь продержаться?

Уродка сухо указала на Мышь: пусть, мол, она отвечает. Та передернула плечами.

— Я не думаю о будущем.

— Как бывший преподаватель живописи...

— Я знаю.

Уродка снова состроила Дэвиду гримасу.

— Одного здравого смысла тут мало.

— Не в этом дело, — сказала Мышь.

— Трудно расстаться?

— Очевидно, дело в случае. Знаете, как это бывает. Сюда меня случай привел, он же и уведет.

— Каким образом он вас привел?

Она взглянула на Уродку — не без иронии.

— Ну давай, расскажи ему.

— Очень уж глупая история. — Мышь отвела глаза в сторону.

Дэвид пробормотал:

— Я весь внимание.

Мышь вынула руку из-под подбородка и вытянула травинку; груди ее были в тени; она пожала плечами.

— Летом прошлого года. В августе. Я была здесь, во Франции, с одним другом. Тоже студент, скульптор. Он увлекался эпохой неолита, и мы пробирались на попутных машинах в Карнак. — Она взглянула на Дэвида. — Аллеи менгиров? По чистой случайности недалеко от Ренна, на шоссе двадцать четыре, нас подобрал школьный учитель из Плормеля. Прямо на дороге. Мы сказали ему, что мы английские студенты, изучаем искусство, а он рассказал нам о Генри. Разумеется, нам это имя было знакомо, я даже знала, что он живет где-то здесь, в Бретани. — Она чуть повернулась, приподняв бедро. Впадина на спине, нежные загорелые щеки. Она тряхнула головой. — Тут нам пришла в голову сумасбродная мысль нагрянуть к нему непрошеными гостями. Раскинули палатки в Пемпонском лесу. Наутро, часов в одиннадцать, явились к Генри. Притворились, что не заметили надписи на воротах. Думали, нам дадут пинка, и почти не ошиблись. Но мы фонтанировали как одержимые. До чего мы обожаем его работы. Как они вдохновляют все наше поколение. И так далее. Он вдруг поверил, и как только у нас хватило духу... словом, вы понимаете. Все это происходило у входа. Он впустил нас и повел по дому. Картины в длинном зале. Мы же с трудом удерживались от смеха. Эта его манера говорить... он кажется таким старым чудачком. — Мышь вытянула руки на траве, посмотрела на них. — Потом мастерская. Я поняла, чем он занимается. Наверно, и у вас вчера было такое же чувство. Я ошалела. Как будто в другой мир попала. — Она снова подперла подбородок и уставилась на деревья. — Три года вдалбливают тебе, как надо правильно писать. И чем дольше учишься, тем меньше знаешь. И вдруг встречаешь этаким нелепый старый мешок с костями и видишь, что он делает все наоборот. И все твои маленькие победы и достижения оказываются ничтожными. Вы уж извините, — быстро проговорила она. — Я вовсе не хочу этим сказать, что и у вас должно быть такое же чувство. Но у меня оно было.

— Ну что вы. Я вполне вас понимаю.

Она улыбнулась.

— А не должны бы. Вы же много, много лучше.

— Сомневаюсь, что это так, но не в этом дело.

— Вот, собственно, и все. Если не считать конца этой истории. Том пошел за фотоаппаратом — мы оставили свои рюкзаки за дверью. Генри сказал мне, что я очень привлекательная «девчурка»: жаль, мол, что он недостаточно молод. Я засмеялась и пожалела, что слишком молода. А он вдруг взял мои руки в свои и стал целовать. Довольно старомодно. И так неожиданно. Вернулся Том и сделал несколько снимков. Генри вдруг спросил, не останемся ли мы пообедать. Но мы решили, что это лишь

красивый жест с его стороны и нам следует отказаться. Глупо. Он никогда не делает красивых жестов. Если не преследует какой-нибудь цели. Пожалуй, об этой цели я уже начала догадываться — по его глазам. Да и Тому, насколько я понимала, хотелось ехать дальше. Одним словом, все кончилось очень плохо. Знаете, как это бывает: отворачиваешься от человека, думая, что он для тебя — ничто, а потом обнаруживаешь, что это не так; только поздно обнаруживаешь. — Она бросила косой взгляд в сторону пихты. — Думаю, он понял тогда, что мы просто дурачились. Что в действительности он совсем нас не интересовал. В какой-то мере это была правда. Для нас он был всего лишь громкое имя. Такая глупость. Погоня за знаменитостями. — Мышь помолчала. — Странно. Даже после ухода я чувствовала себя неловко. Мне хотелось вернуться.

С минуту она молчала. Уродка опустила локти на землю и повернула лицо к подруге.

— Прошло два семестра — девять месяцев; мне в Лондоне было очень тоскливо. С Томом все кончилось. Я чувствовала, что колледж мне ничего не дает. Но колледж тут был ни при чем. Дело было во мне самой. — Она снова вытянула травинку. — Когда встречаешься со знаменитостью, то и на творчество этого человека начинаешь смотреть по-новому. Оно уже не остается незамеченным. Тот августовский день не выходил у меня из головы. Как грубо мы обошлись с одиноким, в сущности, человеком, вся беда которого заключается в том, что у него плохо подвешен язык. Ну и... другие мысли в этом же роде. Имеющие отношение к моей собственной работе. Однажды я взяла да и написала ему письмо. О себе. Пожалела, что не осталась тогда на обед. Что допустила такую бестактность. И спросила, не нужна ли ему помощь по хозяйству. Может быть, смешивать краски. Что угодно.

— А он не забыл вас?

— Я послала ему фотографии, которые сделал Том. Мы с Генри стоим рядом. — Мышь улыбнулась своим мыслям. — Вот это было письмо: не успела его в почтовый ящик опустить, как мурашки по спине побежали — от безумного стыда. Я была уверена, что он не ответит.

— Но он ответил.

— Телеграммой. «Хорошенькая девушка всегда пригодится. Когда?»

Уродка сказала:

— Милый старикан. Прямо быка за рога.

Мышь поморщилась.

— Приехала я сюда с самыми наивными взглядами. Конечно, его прошлое было мне известно. Его репутация. Но я думала, что справлюсь.

Буду держаться строго, давая понять, что гожусь ему во внучки. И уйду, если дело дойдет до крайностей. — Она опустила глаза. — Но у Генри есть одно необыкновенное качество. Какая-то волшебная сила. Уж не говорю о его живописи. Он умеет... растворить в тебе все принципы. Сделать так, что они теряют в твоих глазах значение. Ну, например, может приучить человека не стыдиться своего тела. И, наоборот, стыдиться условностей. Однажды он довольно удачно выразился: исключения не подтверждают правил, они есть исключения из правил. — Ей явно не хватало слов. Она подняла голову и улыбнулась. — В общем, мы никому не можем этого объяснить. Чтобы понять это, надо влезть в нашу шкуру.

Уродка сказала:

— Скорее это похоже на уход за больным.

Наступила пауза. Дэвид спросил:

— А вы, Энн, как сюда попали?

За нее ответила Мышь:

— Мне стало немного тягостно. Не с кем было словом перемолвиться. В Лидсе мы вместе снимали квартиру. Потом не теряли друг друга из вида, и я знала, что Энн не очень нравится на преподавательском факультете. Так что, как только она его закончила...

— Я приехала сюда на неделю. Ха-ха.

Взглянув на ее смешную гримасу, Дэвид улыбнулся.

— Здесь, по крайней мере, интересней, чем преподавать рисование?

— И платят больше.

— Он может себе это позволить.

Мышь сказала:

— Мне приходится даже возвращать ему деньги. У нас же с ним нет соглашения. Он прямо пачками швыряет нам деньги. Сто фунтов. Двести. Когда мы бываем с ним в Ренне, то боимся на витрины смотреть. Он все порывается что-нибудь нам купить.

— В сущности, он добрый человек, — сказала Уродка. И перевернулась на спину. Почти мальчишечья, с темными сосками, грудь, рыжие волосы; она подняла колено, почесала над ним и снова опустила ногу.

Мышь сказала:

— В работе он очень странный. Удивительно терпелив; когда работает кистью. Даже когда рисует. Сама я порой прихожу в ярость, если у меня не получается. Вы рвете на части? А Генри выбрасывает. Но всегда с сожалением. Он относится к своей работе как к чему-то священному. Даже когда не ладится. С людьми он другой. — Она помолчала, покачала

головой. — А в мастерской почти все время молчит. Точно немой или боится, что слова все испортят.

— Еще бы, — сказала Уродка небесам, — слова-то он какие употребляет. — И, подражая голосу старика, произнесла: — «У тебя, может, кровотечение?» Это что такое, я вас спрашиваю? — И вытянула руку вверх, словно отталкивая от себя даже само воспоминание.

— Для него это вроде компенсации.

Уродка щелкнула языком в знак согласия.

— Знаю. Бедный старый ублюдок. Для него это, право, должно быть ужасно. — Она повернулась на бок и взглянула на Мышь. — Странно, правда, Ди? Его все еще интересует секс — хоть и по-смешному, по-стариковски. — Она посмотрела на Дэвида. — Знаете, когда я впервые... вспоминаешь болванов своего возраста и все прочее. Но он был, наверное, экстра-класс. В молодости... да, кстати, о господи, послушали бы вы, что он рассказывает. — Она снова состроила Дэвиду гримасу. — О добрых старых временах. Что он нам тут как-то вечером рассказывал, Ди?

— Глупости. Просто сочинял.

— Очень, черт побери, надеюсь, что это так.

Мышь сказала:

— Это был контакт. Не секс. Воспоминания. Человеческая сторона отношений. Вот что он пытался нам сказать в тот вечер.

Дэвид уловил разницу между девушками. Одна из них хотела затушевать сексуальную сторону их жизни, другая напоминала о ней. Ему вдруг пришло в голову, что Уродка пользуется его присутствием, чтобы подчеркнуть наличие расхождений с подругой, и тут он был на ее стороне.

— Должно быть, экономка и ее муж — люди широких взглядов.

Мышь опустила глаза.

— Только никому, пожалуйста, не говорите, но знаете ли вы, где был Жан-Пьер в конце сороковых-начале пятидесятих годов? — Дэвид покачал головой. — В тюрьме. За убийство.

— Боже милостивый.

— Убил отца. Семейная ссора из-за земли. Французские крестьяне. В сорок шестом году, когда Генри вернулся в Париж, он взял Матильду в прислуги. О том, что случилось с Жан-Пьером, он знал. Мне сама Матильда сказала. В их глазах Генри безупречен. Он не отвернулся от них.

Уродка фыркнула.

— И даже повернулся к ним. К Матильде.

Мышь вопросительно посмотрела на Дэвида.

— Помните довольно грузную натурщицу в некоторых его первых

послевоенных работах?

— О господи. Никогда бы не подумал.

— Даже Матильда не любит об этом вспоминать. Только говорит, что «мосье Анри» внушил ей веру в жизнь. Научил ждать, говорит. Кроме того, она единственная, на кого Генри никогда, ну никогда не повышал голоса. Однажды за ужином он разозлился за что-то на Энн. И ушел на кухню. Через пять минут вхожу туда. Он — там. Ест за одним столом с Матильдой и слушает, как она читает вслух письмо от сестры. Точно священник со своей любимой прихожанкой. — Мышь улыбнулась. — Даже приревновать можно.

— А вас он рисует?

— Рука у него стала трястись. Есть один портрет Энн. Прекрасный шаржевый рисунок. Помните знаменитую Иветту Гильбер на афише Лотрека? Так это — пародия на нее.

Уродка, словно гребнем, провела пальцами по своим мелко завитым волосам.

— И нарисовал так быстро. Всего за полминуты. Ну, самое большее за минуту, верно, Ди? Фантастика. Честное слово.

Она снова легла на живот и подперла руками подбородок. Ногти у нее были темно-красные.

Мышь опять с любопытством взглянула на Дэвида.

— Говорил он с вами о вашем очерке?

— Сказал только, что не знает названных мною имен. За исключением Пизанелло.

— Не верьте. У него невероятная память на полотна. Я сохранила некоторые его рисунки. Когда он пытается рассказать о чьей-то картине, а я не понимаю, которую он имеет в виду, то он иногда изображает ее на бумаге. Как Энн говорила. Молниеносно. Вплоть до малейшей детали.

— Это звучит ободряюще.

— Он никогда не согласился бы на ваше участие в подготовке книги, если бы вы не были так близки к истине.

— А я уже начал недоумевать.

— Он всегда знает, что делает. Лучше, чем вы думаете. Даже когда ведет себя возмутительно. Однажды — Энн тогда еще не было с нами — я повезла его в Ренн посмотреть «Смерть в Венеции». Думала, ему понравится. Хотя бы как зрелище. Первые двадцать минут он был золото, а не человек. Потом появляется на экране этот ангелоподобный мальчик. В следующий раз, когда он появился, Генри говорит: «Какая миленькая девчурка. Она во многих картинах снималась?»

Дэвид рассмеялся. В ее глазах тоже заискрился смех. Серьезность с лица сошла, она уже не казалась старше своих лет.

— Вы и не представляете, какой он невозможный. Начал спорить со мной о том, мальчик это или девочка. Во весь голос. По-английски, конечно. Потом стал распространяться о мальчиках-педерастах и современном декадансе. Зрители вокруг нас зашикали. А он вступил с ними в перебранку — по-французски. Не знал, говорит, что в Ренне столько гомиков. В конце концов... — Мышь приставила палец к виску, — разразился скандал. Мне пришлось увести его, пока не вызвали полицию. Всю дорогу, пока мы ехали домой, он убеждал меня, что «кинема», как он называет кино, началось с прихода и кончилось уходом Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд. Непроходимое упрямство. За последние двадцать лет и десяти фильмов не посмотрел. Но уже все знает. Так же, как вчера вечером с вами. Чем убедительнее ваши аргументы, тем меньше он вас слушает.

— Разыгрывает спектакль?

— Это такой своеобразный стиль. В нем есть даже что-то искреннее. Словно он хочет сказать: «Я не снизойду до твоего возраста. Я стар, хочу быть самим собой и понимать тебя не желаю».

Уродка сказала:

— К примеру, как он разговаривает. Не перестает называть меня гулящей девкой. Я смеюсь, говорю ему: «Генри, гулящие девки перевелись вместе с корсетами и панталонами». Куда там. Он от этого только в еще больший раж входит, правда, Ди?

— Однако выходки эти не такие уж бессмысленные, как кажется. Он хочет, чтобы мы видели в нем что-то смешное. Вернее — ненавистное.

— Чтобы прощали ему его слабости.

Наступило молчание. Солнце, хотя и осеннее, припекало. Бабочка-адмирал, бесшумно махая крылышками, повисла над изгибом спины Мыши. Дэвид знал, что у них сейчас на душе: тоска по добрым старым временам в художественном колледже; желание пооткровенничать, пожаловаться на судьбу; испытать человеколюбие учителя, проверить его готовность к сочувствию; не просто исповедаться, а услышать слова утешения. Мышь заговорила, обращаясь к траве:

— Надеюсь, вас это не шокирует.

— Я восхищаюсь тем, как вы разумно о нем судите.

— Вот в этом-то мы порой и сомневаемся. — И добавила: — А вдруг мы оправдываем клички, которые он нам дал.

Дэвид улыбнулся:

— По-моему, вы далеко не робкого десятка.

— Если не считать того, что я сбежала.
— Но вы же говорили, что здесь больше узнаете.
— О жизни — да, но...
— Но не в творческом плане?
— Стараюсь начать все с начала. Еще не знаю.
— Значит, действуете не по-мышинному. Уродка сказала:
— А мне наплевать. Уж лучше сражаться со стариком Генри, чем с сорока болванами в школе.

Мышь улыбнулась, а Уродка подтолкнула ее плечом.

— Тебе-то что. — Она взглянула на Дэвида. — Сказать по чести, я жила черт знает как. В студенческие годы. Наркотики. Правда, не самые сильные. Ну, вы понимаете. Спала с кем попало. Ди знает, с какими подонками я путалась. Правда. — Она толкнула ногой ногу подруги. — Ведь так, Ди? — Мышь кивнула. Уродка посмотрела мимо Дэвида — туда, где спал старик. — С ним я хоть не чувствую себя потаскухой. Этот по крайней мере ценит меня. Никогда не забуду одного типа. Он был просто... ну, понимаете, большая шишка. И знаете, что он мне говорил? — Дэвид отрицательно покачал головой. — «Почему ты такая тощая?» Честное слово, как подумаю, чего я только не пережила. А этот бедняга Генри смотрит на меня со слезами благодарности, когда у него получается. — Она потупилась, будто спохватившись, что слишком уж разоткровенничалась, потом вдруг усмехнулась и посмотрела на Дэвида. — Можете составить себе состояние в «Ньюс оф зи уорлд»³⁶.

— Думаю, что права на авторство принадлежат вам.

Она пристально посмотрела на него, в ее взгляде мелькнули вопрос и насмешка одновременно. У нее были темно-карие глаза, самое привлекательное в ее маленьком личике. Они выдавали прямоthu характера и с близкого расстояния казались нежными. Только теперь, за эти сорок минут разговора, Дэвид понял, что узнает о ней кое-что новое. За грубоватостью ее речи угадывались благорасположение и искренность, не врожденная искренность Мыши, выросшей в вольнодумной буржуазной среде и обладающей неплохим умом и несомненным талантом, а искренность представительницы трудового люда, приобретенная дорогой ценой, ценой «жизни черт знает как». Теперь понятны были их дружба и взаимоотношения: они не только повторяли, но и дополняли друг друга. Возможно, такое впечатление складывалось благодаря их наготе, солнцу, воде, тихим голосам, молчаливой глади затерянного пруда; он чувствовал, как таинственные узы все крепче и крепче связывают его с этими тремя чужими людьми, точно он знал их не двадцать четыре часа, а гораздо

дольше, те же, кого он знал, за это время как-то поблекли и исчезли с его горизонта. Реально существовал лишь день сегодняшний, а вчерашний и завтрашний дни превратились в мифы. И еще было ощущение собственной исключительности; казалось почти непостижимым, что он живет в той среде и в ту эпоху, которые допускают столь быстрое развитие событий; когда, выражаясь более банально, человеку его профессии выпадают такие счастливые случаи. Что сказали бы друзья, увидев его в таком обществе? И в эту минуту он подумал о Бет.

Под взглядом Уродки он отвел глаза в сторону. Наступила короткая пауза. И тут Мышь посмотрела вокруг с некоторой неловкостью (потому что тоже, видимо, понимала, что исповедь получилась чересчур откровенной), потом — на подругу.

— Хочу еще поплавать.

— О'кей.

Мышь села спиной к Дэвиду. Уродка улыбнулась.

— Будьте нашим гостем.

Он это предвидел и уже знал, как поступит. Оглянулся на пихту, в тени которой лежал старик.

— Если ничего не спровоцирую.

Она высоко подняла брови — в духе Граучо Маркса.

— Разве что нас.

Мышь повернулась и шлепнула ее ладонью по заду. Потом встала и пошла к воде. Молчание; Уродка продолжала лежать, разглядывая траву.

— Зря добро пропадает, правда? — сказала она, понизив голос.

— Видимо, она знает, что делает.

Уродка криво усмехнулась:

— Шутите.

Дэвид посмотрел на тонкий стан Мыши, погружавшийся все глубже в воду, — настоящая Диана, тонкая, стройная; видимо, наступила на что-то острое и сделала шаг в сторону.

— Вы считаете, что надо отсюда уезжать?

— Я и живу-то здесь только из-за нее. — Она опустила глаза. — Как это ни странно, но именно она тут лишняя. Я и старик Генри — мы живем, так сказать, по принципу: хоть день, но мой, понимаете? Мы уже не можем играть в невинность, даже если бы захотели. А Диана — совсем другое дело.

Мышь окунулась и поплыла.

— И она этого не понимает?

— Сказать по правде, нет. Глупая она. С умными девушками это

иногда случается. Генри-то она насквозь видит, это верно. Не видит только себя. — Теперь Уродка сама избегала смотреть Дэвиду в глаза: она была чуть ли не смущена. — А вы бы попробовали вызвать ее на разговор. Сегодня вечером, например. Генри мы уложим спать пораньше. Ей нужен кто-нибудь со стороны.

— Ну, конечно... Я попробую.

— О'кей. — Она помолчала, потом вдруг встала и снова села на пятки. Ухмыльнулась. — Вы ей нравитесь. Говорит, что вы замечательный художник. Она только пыль в глаза вам пускала. Вчера, когда вы приехали.

— Я знаю, она мне уже говорила.

Уродка окинула его оценивающим взглядом, потом поднялась на ноги и на миг застыла, точно Венера, в стыдливой позе.

— Мы не будем смотреть, — сказала она и пошла купаться.

Дэвид встал, разделся и отправился следом. Уже будучи по пояс в воде, поравнялся с Уродкой. Та одарила его улыбкой и, тихо взвизгнув, поплыла вперед. Секунду спустя он тоже нырнул и поплыл туда, где над поверхностью виднелась вдалеке голова Мыши.

Пятью часами позже эта же голова предстала его глазам за обеденным столом, и теперь он уже ни о чем другом не мог думать. До ужина он видел Мышь только мельком, потому что она и Уродка были заняты на кухне. К ужину она надела черную рубашку и другую длинную юбку, ярко-оранжевую с коричневыми полосами — ночь и осень, — а волосы зачесала кверху, придав им классически элегантный и вместе чуточку небрежный вид. В поведении ее угадывалось едва заметное желание произвести впечатление, и это ей удавалось. Чем больше Дэвид присматривался к ней, чем больше узнавал, тем больше она ему нравилась: ее характер, система взглядов и вкусов, ее женственность. Он это понял и пытался скрыть. Не только от нее, но и от самого себя. Скрыть в том смысле, что не нашел еще ответа на вопрос: почему она так стремительно влекла его к себе, почему именно такое сочетание физического и психологического, сдержанного и открытого, управляемого и стихийного (он начинал верить тому, что говорила Уродка) находило столь сильный отклик в его душе. Странное дело: теплится в человеке чувство, о котором он даже не подозревает, и вдруг, как гром среди ясного неба, захлестывает его. Дэвиду казалось, что он околдован, пленен. Он объяснил это в первую очередь отсутствием Бет. Они так давно были близки, что он утратил представление о мужской свободе и только теперь ощутил себя самостоятельной личностью. Вспоминая прошедший день, он испытывал огромное наслаждение. День, такой сложный и вместе с тем такой простой; такой насыщенный новыми

впечатлениями и такой примитивный, атавистический, не подвластный времени. И сверх того, он чувствовал, что его здесь признали, что считают чуть ли не своим.

То, что Дэвид выкупался с девушками, помогло ему войти к ним в доверие. Потом он понял, что так именно и должен был поступить, чтобы показать себя молодцом в глазах Уродки и тем оправдать более интеллектуальную Мышь, выбравшую себе такую подругу. Ярдах в ста от берега он нагнал ее. Плывая на почтительном расстоянии друг от друга, они поболтали немного о пруде, о температуре воды, о прелести купания. Он заметил, что Уродка повернула к берегу. Бресли, казалось, все еще спал. Потом и они медленно поплыли обратно, по направлению к худенькой фигурке, вытиравшейся полотенцем. Он вышел из воды вместе с Мышью; Уродка протянула ему свое мокрое полотенце. Солнечный свет, деревья, сознание того, что на тебя смотрят... Но если он и стыдился чего-нибудь, то не присутствия девушек — разве что своей белой кожи рядом с их загорелыми телами.

Он оделся не сразу, а сперва сел возле своей одежды, упершись руками в землю. Девушки легли, как и прежде, на спину, головой к нему и ногами — к воде. Безмолвие пруда, полное уединение... Впрочем, не совсем — на противоположном берегу, в самой отдаленной точке мелькнуло что-то: рыболов, взмах удочки, голубое пятно крестьянской рубахи. Дэвид молчал. Он испытывал сладострастное чувство — не вполне осознанное первобытное влечение самца к особям другого пола, желание видеть себя в роли шейха. Нарочито брошенная стариком фраза насчет того, что требуется этим двум девушкам, наводила его на мечтательные мысли, притупляла чувство ответственности... развязывала инстинкты, которые человек обычно подавляет в себе. Немногим больше двенадцати часов тому назад он почти сбросил их со счетов, перечеркнул, как нечто недостойное внимания, и вот сейчас убедился: то, что во время пикника казалось весьма гадательным, сейчас начало приобретать реальные, конкретные черты и уже не представлялось таким невозможным. Вот так же случается с живописцем, который за несколько часов иногда достигает большего, чем за несколько дней или даже недель кропотливого труда. Дэвид, конечно, знал, отчего у него такое ощущение. От сознания того, что у него очень мало времени, что его ждет проза жизни, что впереди — дальняя дорога в Париж (в предместье Парижа), где надо быть ровно через сутки, в точно назначенное время. Гениальность старика проявилась, пожалуй, и в том, что он бежал из города в таинственную глушь и обрел в этом древнем зеленом крае кельтов животворную силу. Счастливцев старик:

не утратил восприимчивости, оставаясь глубоко аморальным человеком, и благодаря своей славе приобрел последнее в жизни уютное пристанище и сухо рациональное расположение вот этих женщин. Дэвид оглянулся: Бресли все еще спал как мертвый. Притихшие девушки лежали так, что он мог сколько угодно разглядывать их, в чем они, очевидно, отдавали себе отчет. Их молчание значило, что они щадят его стыдливость, разговаривая, они должны были бы поворачиваться к нему лицом, и это тоже было их тайным преимуществом. Он вдруг познал зов насилия, совершенно не свойственного его натуре. Что-то нежное и провоцирующее в самой беззащитности девушек глубоко взбудоражило его.

Он встал и оделся. Он расскажет Бет — он всегда ей все рассказывает — рано или поздно; но лишь после того, как они переспят.

Они медленно двинулись домой; девушкам вдруг пришло в голову немного отклониться от маршрута, чтобы показать ему живописные развалины фермы, а заодно набрать ежевики, росшей в изобилии на некогда расчищенном под пашню участке. В смеси с яблоками, сказали они, получится прекрасная начинка для традиционного английского пирога. Старик заявил, что «эта дрянь» ему отвратительна; но ворчал он беззлобно и даже помогал пригибать крюком трости высокие ветки. Минут пятнадцать они были по-детски увлечены этим занятием. Еще один повод для грустных воспоминаний: ему-то уже не придется полакомиться пирогом, в чем он заблуждался, ибо девушки тут же отправились на кухню: Мышь — месить тесто, Энн — готовить начинку. «Специально для вас», — объявили они, как бы желая загладить свою вину за то, что уязвили его мужское самолюбие, поставили в неравное положение. Он был тронут.

Часть пути от зарослей ежевики до дома Дэвид шел рядом с Мышью — впереди Уродки и старика. Мышь почему-то вдруг засмушалась немного, словно знала, что говорила Дэвиду подруга; он чувствовал, что, с одной стороны, ей хочется поговорить, а с другой — она боится сказать лишнее. Вспомнили о Королевском колледже, почему она ушла оттуда, но разговор был нейтральный, вообще. Из того, что она сказала, можно было заключить, что в колледже она испытывала нечто вроде клаустрофобии — слишком много избранных талантов собралось на слишком тесном пространстве — и растерялась, когда увидела работы других; в общем, виновата она сама. Дэвид вдруг увидел перед собой совсем другую девушку — легко возбудимую, болезненно самокритичную, до крайности дотошную. Да, она такая, если судить по той работе, которую он видел вчера. В то же время Мышь старалась показать, что она не слишком обеспокоена своей несостоявшейся карьерой, во всяком случае не

настолько, чтобы докучать Дэвиду своими излияниями. Они перевели разговор на более нейтральную тему — о художественном образовании вообще. Дэвида, таким образом, предупреждали: как самостоятельная личность, она — совсем другой человек и «усвоить» ее в отрыве от Уродки, выполняющей роль катализатора, гораздо труднее. Мышь даже остановилась и обернулась, поджидая, когда подойдут те двое. Дэвид был почти уверен: остановилась она не потому, что боялась вызвать у Генри ревность. Просто разговор у них не получился. Но от этого она не стала казаться ему менее привлекательной.

Ничто, пожалуй, не говорило так о его душевном состоянии, как терзавшая его по дороге мысль о том, ждет или не ждет его в Котминэ телеграмма от Бет. Не было смысла обманывать себя. Он откровенно надеялся, что отъезд Бет в Париж почему-либо задержится (только, конечно, не потому, что серьезно расхворалась Сэнди). Такую возможность они ведь не исключали, ее отъезд действительно мог задержаться на день или два. А ему и нужен-то всего один лишний день. Но мечта его не сбылась: никаких телеграмм в их отсутствие не поступало.

Зато — в порядке компенсации — он получил еще одну, последнюю возможность побеседовать с Бресли *tete-a-tete*³⁷. На большую часть вопросов биографического характера Бресли ответил в своей обычной манере, но Дэвид все же чувствовал, что основные факты он излагает правильно. Некоторые же ответы звучали даже искренне. Дэвид попросил старика объяснить явный парадокс: его пацифизм в 1916 году и последующая служба санитаром в Интернациональной бригаде во время гражданской войны в Испании.

— Трусил, мой дорогой друг. В буквальном смысле. Была у меня целая коллекция всякой дряни. Я-то на это плевал, считал чепухой. Рассел просветил меня. Слушал его речи, публичные лекции. Умнейшая голова, добрейшее сердце. Единственный в своем роде. Таких больше не встречал. — Они сидели за столом у окна его спальни, сзади них стояли две кровати. Дэвид попросил показать ему Брака. Старик сказал, что когда-то у него была еще одна картина этого художника, но ее пришлось продать, чтобы купить Котминэ и произвести в нем необходимые переделки. — Годы-то идут, — с улыбкой продолжал Бресли. — А я вот все, знаете ли, думаю. Может, это не было просто трусостью. Надо же в конце концов выяснить. И выбросить из головы. Понимаете?

— Кажется, да.

Старик смотрел в окно. Солнце уже заходило, его лучи освещали стволы деревьев.

— Ужасно боялся. Все время. Ненавидел войну. Но надо было рисовать. Только это и помогло выдержать. — Бресли улыбнулся. — Не смерти боялся. Молил бога о смерти. А вот боль до сих пор чудится. Не выходит из памяти. Хотел зафиксировать ее. Уничтожить. Но не сумел изобразить.

— Может быть, вам так кажется. Все остальные считают иначе.

Старик покачал головой:

— Это все равно как соль сыпать на хвост. Не на дурака напали.

Дэвид постарался отвлечь старика от этой больной темы и даже под конец рискнул предложить ему собственное лекарство. Если он отрицает параллели, о которых Дэвид говорит в своем очерке, то как совместить это с тем, что девушки восхищены его способностью помнить картины других художников? Бресли бросил на него косой взгляд и потянул себя за нос.

— Выдали меня сучки, а?

— Пока вы спали, я выкручивал им руки.

Старик опустил глаза и погладил рукой край стола.

— Хорошую картину никогда не забываю, Дэвид. — Он снова посмотрел в сад. — Имена — да. Но что значит имя? Почти ничего. — Он указал большим пальцем на картину Брака и подмигнул. Изображение-то, мол, остается, а это — главное.

— Стало быть, я могу не изымать себя из библиографии?

Бресли, словно не слыша вопроса, сказал:

— Повешенный. Не веронец. Лиса. Кажется. Уже не помню.

Он имел в виду одну деталь в глубине фрески Пизанелло «Св. Георгий и принцесса», которая послужила темой для одного из самых мрачных полотен серии Котминэ; оно не имело названия, но могло бы быть названо «Скорбь» — лес, фигуры повешенных и живых, которые, казалось, завидовали повешенным.

— Лисы не припоминаю.

— «Книга мучеников». Гравюра на дереве. Старый экземпляр был у нас дома. Привела меня в ужас. Шести-семи лет. Гораздо страшнее, чем в жизни. Испания.

Дэвид решил задать еще один вопрос:

— Почему вы так неохотно раскрываете свои источники?

Вопрос явно понравился старику — словно Дэвид, задав его, угодил в ловушку.

— Мой дорогой мальчик. Писал, чтобы писать. Всю жизнь. И не давать умникам вроде вас похвалиться своими познаниями. Все равно что испражняться, да? Вы спрашиваете, зачем я это делаю. Как делаю. Ведь от

запора можно умереть. Мне равным счетом наплевать, как возникают мои замыслы. Никогда не придавал этому значения. Само собой получается, и все тут. Даже не знаю, как это начинается. Не до конца понимаю значение. И понимать не хочу. — Он кивнул головой на Брака. — У старого Жоржа была фраза: «Trop de racine». Да? Слишком много корня. Начала. Прошлого. А самого цветка нет. Вот этого самого. На стене. Faut couper la racine. Отрезать корень. Так он говорил.

— Живописцы не должны быть интеллектуалами?

Старик улыбнулся:

— Выродки. В жизни не встречал стоящего художника, который не считал бы себя интеллектуалом. Старый осел Пикассо. Ужасающий тип. Так и щелкает на тебя зубами. Скорее бы акуле доверился, чем ему.

— Но ведь он дает достаточно ясно понять, о чем пишет?

Старик даже фыркнул, показывая всю меру своего несогласия.

— Вздор, мой дорогой. Fumisterie³⁸. Сплошь. — И добавил: — Слишком быстро работал. На протяжении всей жизни — сплошное перепроизводство. Дурачил людей.

— А «Герника»?

— Хорошее надгробие. Позволяет всяким подонкам, в свое время плевавшим на Испанию, выражать теперь свои благородные чувства.

В тоне Бресли звучала горечь; вдруг вспыхнул крошечный красный огонек; что-то еще болело. Дэвид видел, что разговор возвращается к спорам об абстракционизме и реализме и к воспоминаниям об Испании. Неприязнь старика к Пикассо стала понятна. Но Бресли сам отступил.

— Si jeunesse savait...³⁹ Знаете?

— Конечно.

— Вот и все. Просто берите кисть и работайте. Это мой совет. А умные разговоры пускай ведут те несчастные гомики, которые не умеют писать.

Дэвид улыбнулся и опустил глаза. Потом встал, намереваясь уйти, но старик остановил его.

— Рад, что вы поладили с девчонками, Дэвид. Хотел вам сказать. Все-таки им развлечение.

— Они хорошие девушки.

— Вроде довольны, вы не находите?

— Жалоб, во всяком случае, не слышал.

— Не много я могу им теперь дать. Разве что денег на карманные расходы. — Старик выжидательно помолчал. — Всегда стесняюсь

разговаривать о жалованье и прочем.

— Я убежден, что они здесь не ради денег.

— Все-таки лучше, когда регулярно. Вы не думаете?

— А почему вы Мышь об этом не спросите?

Старик снова посмотрел в окно.

— Очень щепетильная девчурка. В денежных делах.

— Хотите, я у них выясню?

Бресли поднял руку.

— Нет, нет, мой друг. Я только советуюсь с вами. Как мужчина с женщиной, понимаете?.. Ужасно боюсь потерять Мышь. Стараюсь скрыть это.

— По-моему, она это понимает.

Старик кивнул и слегка пожал плечами, как бы желая сказать, что время и судьба в конце концов возьмут свое; на этом разговор кончился.

Обо всем этом Дэвид размышлял, лежа вскоре у себя в ванне, — о том, что может связывать между собой этих людей при всем их несходстве, взаимном непонимании, недомолвках, скрытых за фасадом откровенности. Вряд ли надолго сохранится этот тройственный семейный союз — *menage a trois*, в котором участвуют красивые, молодые, эмансипированные женщины. Будут и ревность, и предпочтения, и размолвки... в этом замкнутом, обособленном мирке, столь непохожем на реальный, будничный мир Дэвида: Блэкхит, уличная сутолока в часы пик, вечеринки, друзья, выставки, дети, субботние хождения по магазинам, родители... Лондон, стяжательский и расточительный. Как сильно может тосковать человек по... такому уголку, как Котминэ. Надо поговорить с Бет и обязательно попробовать подыскать такое место, например, в Уэльсе или где-нибудь на западе — есть же там что-нибудь, кроме Сент-Айвза⁴⁰, где вокруг двух-трех серьезных художников увивается целое сонмище позеров.

Несчастные гомики, которые не умеют писать. Да.

В памяти Дэвида, конечно, останется природная неотесанность старика. Но грубость речи и поведения в конечном счете обманчивы — как обманчива внешняя агрессивность некоторых зверей, потому что агрессивность эта, в сущности, обусловлена желанием обрести мир и пространство, а не демонстрировать свою животную силу. Гротескные обличья старика — всего лишь внешние проявления его подлинного «я», стремящегося вырваться на волю. Его настоящее обиталище — не *manoir*, а окружающий лес. Всю жизнь он, должно быть, искал для себя укрытие; крайне застенчивый, робкий, на людях он принуждал себя держаться как раз наоборот. Возможно, это и явилось первопричиной его отъезда из

Англии. Оказавшись же во Франции, он почувствовал себя англичанином. Можно лишь удивляться, сколько национального духа сохранилось в нем за долгие годы эмиграции, как стойко он сопротивлялся вторжению французской культуры. Нечто сугубо английское в серии Котминэ было отмечено Дэвидом уже в первых набросках его вступительной статьи, и теперь он решил, что это его наблюдение следует еще развить и усилить. Не в нем ли ключ к пониманию этого человека? Хитрый старый изгой, прячущийся за яркой ширмой озорника и космополита, так же, наверное, неотделим от своей родины, как Робин Гуд.

За ужином преобладала атмосфера корректности, соответствующая правилам гостеприимства. Хотя Генри, перед тем как сесть за стол, и выпил виски, во время еды он ограничился двумя бокалами вина, и то разбавленного водой. Вид у него был усталый, удрученный: вчерашняя попойка все-таки давала себя знать. Каждая морщинка на его лице говорила о старости, и Дэвиду казалось, что девушки чуть ли не нарочно подчеркивают пропасть между ними и Генри. Уродка, впав в болтливое настроение, стала рассказывать Дэвиду на своем эллиптическом английском языке, пересыпанном жаргонными словечками, о том, каких мучений стоили ей занятия на преподавательском факультете. Старик смотрел на нее с таким выражением, словно ее внезапное оживление немного удивляло его и... ставило в тупик. Большую часть того, что она говорила, он, видимо, просто не понимал; микропреподавание, искусство систем, психотерапия — все эти понятия казались ему пришедшими с другой планеты. Дэвид представлял себе, как озадачен был этот человек, продолжавший мыслить категориями титанических битв начала двадцатого века, когда услышал, что увлекательная теория искусства и его революционная практика свелись к технике массового образования, к «деятельности», стоящей где-то между английским и математикой. «Les demoiselles d'Avignon» — и миллиард банок плакатной краски.

Выпили кофе — старик почти совсем умолк. Мышь посоветовала ему идти спать.

— Чепуха. Хочется послушать вас, молодых.

Она мягко сказала:

— Не притворяйся. Ты очень устал.

Генри поворчал немного, взглянул на Дэвида, надеясь на его мужскую солидарность, но тот молчал. Мышь повела его наверх. Как только они исчезли из виду, Уродка пересела на стул старика и налила Дэвиду еще кофе. В этот вечер она была одета не так экзотично, как накануне: черное

платье от Кейт Гринуэй, усеянное розовыми и зелеными цветочками. Деревенская простота этого наряда шла ей больше или, вернее, к тому, что Дэвиду начинало в ней нравиться. Она сказала:

— Когда Ди вернется, пойдем наверх. Надо, чтобы вы посмотрели ее работы.

— Я бы с удовольствием.

— Она насчет этого дурочка. Стесняется.

Он помешал свой кофе.

— Что произошло с ее дружком?

— С Томом? — Она пожала плечами. — А, обычное дело. Не мог смириться. Когда ее приняли в Королевский колледж. А он надеялся, что его примут.

— Это бывает.

— Такие, как он, воображают, что им все доступно. Закрытые частные школы и прочее. Лично я терпеть его не могла. Он всегда был такой самоуверенный. Одна только Ди этого не замечала.

— Она очень страдала?

Уродка кивнула.

— Я же говорю. Наивная она. В некоторых отношениях. — Она умолкла, перестала вертеть ложку и внимательно посмотрела на его освещенное лампой лицо — взгляд у нее был удивительно прямой.

— Могу я открыть вам тайну, Дэвид?

— Конечно, — улыбнулся он.

— То, что я еще днем хотела сказать. — Она бросила взгляд в сторону лестницы и понизила голос: — Он хочет, чтобы она вышла за него замуж.

— О господи.

— Это такая нелепость, я...

— Да неужели она...

Девушка покачала головой.

— Вы ее не знаете. Она умнее меня во многих отношениях, но, честное слово, иногда делает глупости. Вся эта история, например. — Она грустно усмехнулась. — Две потрясающие девки. Куриные мозги у нас, что ли? Мы даже острить на этот счет перестали. Правда, с вами вот немного развлеклись. Но это — первый раз за много недель.

— Она ему отказала?

— Говорит, что да. Но ведь она все еще здесь, верно? Вбила себе в голову, что он ей вроде отца, что ли. — Уродка снова посмотрела Дэвиду в глаза. — А ведь она потрясающая девка, Дэвид. Честное слово, вы даже не представляете. Мои мама и папа — свидетели Иеговы⁴¹. Совсем с ума

спятили. Дома у меня черт-те какие дела. Я хочу сказать — у меня и дома-то никакого нет. Если бы не Ди, я бы пропала. Уже в прошлом году. Счастье, что могла хоть ей писать. — Дэвид хотел сказать что-то, но она перебила его: — И такая непоследовательная. — Уродка обвела рукой помещение. — Даже вот это все — для нее причина не выходить за него замуж. Сумасшедшая. Так испортить себе жизнь и ничем не попользоваться.

— Никого из людей своего возраста она здесь не встретит.

— В том-то и дело. — Она полулегла на локте, глядя на Дэвида через стол. Они беседовали, все так же понизив голос. — А если и встретит, то не обратит внимания. На прошлой неделе, например, мы поехали в Ренн за покупками. Пристали к нам двое парней-французов. В кафе. Студенты. Ну, разговор там, шутки. Неплохие оказались ребята. Трепались с ними вовсю. Ди сказала им, что мы на каникулы сюда приехали, остановились у ее родственников. — Уродка скривила лицо. — А они взяли да потом и приехали к нам сюда. — Она пропустила волосы сквозь пальцы. — Невероятно. Вы не поверите. Ди вдруг повела себя как офицер службы безопасности. Как она отбрила этих ребят! И — прямо домой, раздеваться, потому что Генри, видите ли, одиноко и хочется поиграть. Я хочу сказать — в определенном смысле. Вы знаете — в каком. Не в физическом. Этим он заниматься уже не может, просто... знаете, Дэвид, секс, честное слово, все это я видела. И гораздо хуже. Но Ди — другое дело. В Лидсе она обожглась. Сильно. Потому ей не надо быть со мной. Она считает: либо так, как с Генри, либо — как жила я. Она понятия не имеет, как на самом-то деле должно быть. Какая это может быть жизнь.

— А вы не...

Но он не успел спросить, намерена ли она уехать отсюда одна. Сверху донесся звук закрывающейся двери. Уродка выпрямилась на своем стуле, а Дэвид обернулся, глядя на слабо освещенную лестницу, по которой спускалась та, о ком только что шел разговор. Мышь помахала им — озерцу света, в котором они сидели, и, сойдя вниз, пошла к ним — стройная, спокойная, сдержанная, живое опровержение того, что сказала о ней подруга. Она снова села напротив Дэвида и облегченно вздохнула.

— Сегодня он вел себя хорошо.

— Как вы и предсказывали.

Она скрестила два пальца руки. Чтобы не сглазить.

— И о чем это мы беседовали?

— О тебе.

Дэвид добавил:

— И о том, покажете ли вы мне ваши работы.

Она опустила глаза.

— Не так уж много показывать.

— Ну, что есть.

— В большинстве это — рисунки. Живописью я почти не занималась.

Уродка встала.

— Я сама покажу. Если хочешь, оставайся здесь.

Девушки переглянулись. В глазах одной светился вызов, в глазах другой — боязнь. Чувствовалось, что они уже спорили на эту тему. Наконец, та, что боялась, улыбнулась и встала.

Дэвид поднялся следом за ними наверх и, миновав дверь своей комнаты, прошел по коридору в восточный конец дома. Там была еще одна большая комната. Хотя в ней тоже стояла кровать, ее убранство скорее напоминало гостиную. Или комнату студентки, если бы на стенах висели не оригинальные, отлично выполненные работы, а ремесленные поделки или репродукции. Уродка подошла к стоявшему в углу проигрывателю и стала перебирать пластинки. Мышь сказала:

— Идите сюда.

Он подошел к длинному рабочему столу, флаконы с тушью, акварельные краски, наклонная чертежная доска с неоконченным рисунком. Безукоризненный порядок, полная противоположность тому, что он видел в мастерской старика... Такой же порядок Дэвид любил поддерживать на собственном домашнем «верстаке». Мышь сняла с полки папку и положила перед собой.

— К концу пребывания в Лидсе я целиком отдалась абстрактному искусству. С тем и в Королевский колледж поступила. А то, что вы сейчас видите, — это, в сущности, возврат к прошлому. — Она робко улыбнулась. — Чему я, как мне начало казаться, прежде напрасно не уделяла внимания.

С точки зрения техники исполнения рисунок производил хорошее впечатление, но ему, пожалуй, недоставало индивидуальности. Приятная сдержанность, которую она проявляла в обращении с людьми, на бумаге превращалась в холодность, в нечто излишне прилежное и *voulu*⁴². Удивляло полное отсутствие стремительного полета линии, твердости и силы, характерных для Бресли, — сопоставление это пришло Дэвиду на ум не по памяти, поскольку рисунок, о котором Мышь рассказывала ему днем у пруда (маленький шарж на Уродку в стиле Лотрека), оказался в той же папке. На рисунке лежал отпечаток торопливости и вместе инстинктивного мастерства живой линии. Разумеется, Дэвид делал лестные замечания,

задавал стандартные вопросы, угадывал то, что она хотела изобразить, и отмечал наиболее удачные места. Уродка стояла теперь рядом с ним. Он ожидал услышать поп-музыку, но ошибся: это был Шопен, и звук был приглушен — шел лишь фоном.

В папке лежали также акварели, не относящиеся к предметному искусству. Сочетания цветов некоторым образом напоминали те, которыми пользовался сам Дэвид. Эти работы понравились ему больше: оттенки, контрасты, ощущение поиска; лучше, чем свехпедантичные карандашные этюды. Мышь открыла шкаф, стоявший у противоположной стены, и достала четыре полотна.

— Приходится прятать их от Генри. Извините, если они покажутся вам плохими работами Дэвида Уильямса.

Она поискала место, где их повесить, сняла карандашный рисунок и передала Дэвиду. Гвен Джон. Только сейчас он обратил внимание, что это — портрет Генри. Примерно в возрасте Дэвида. Бресли сидел выпрямившись на деревянном стуле, несколько театральный и величественный, несмотря на будничный костюм, молодой неистовый модернист конца двадцатых годов.

Мышь направила свет лампы с гибкой стойкой на выбранное ею место. Дэвид положил снятый со стены рисунок на стол.

Полотна, которые она показала, внешне ничем не напоминали его собственные, разве лишь тем, что они тоже представляли собой изящные и точные абстракции и тоже были меньшего размера, чем большинство картин, выполненных в этой манере. Весьма вероятно, что он и не заметил бы никакого своего влияния, если бы она не предупредила его сама. Но качество полотен, их проблематика и гибкость решений — а в этом он разбирался превосходно — не вызывали сомнения. Тут притворства не требовалось.

— Теперь я понимаю, почему вас приняли в колледж.

— Иногда получается. Иногда нет.

— Это нормально. Получается.

Уродка сказала:

— Продолжайте. Скажите ей, что это чертовски здорово.

— Не могу. Зависть одолевает.

— Она и просит-то всего по пятьсот за штуку.

— Энн, не говори глупостей.

Дэвид сказал:

— Давайте посмотрим еще вот эту последнюю, что висит рядом с эскизом.

На эскизе была изображена роза, вьющаяся по стене; на картине — переплетение розовых, серых и кремовых полос, опасная палитра, но Мышь сумела избежать опасности. Он сам побоялся бы использовать эти цвета, с заложенной в них сентиментальностью, отсутствием полутонов. В его части зодиака преобладали цвета, в которые сегодня была одета Мышь: цвета осени и зимы.

Последующие двадцать минут, если не больше, ушли на беседу о живописи: Дэвид рассказал о своей технике и о том, как снова заинтересовался литографией, как «выращивает» свои идеи... говорил он так, как когда-то перед студентами, хотя теперь уже утратил эту привычку. Бет жила почти его жизнью и не нуждалась в объяснениях — она и так все хорошо понимала; к тому же между их стилями не было никакого сходства. Что касается Мыши, то он улавливал — отчасти интуитивно, — что она хочет сказать. В этом действительно угадывалась аналогия; при том, что Мышь, как женщина, отдавала предпочтение текстуре и цветовым сочетаниям, а не форме, она пользовалась в своих абстракциях не искусственными, а природными цветовыми гаммами. По ее словам, Генри повлиял на нее в одном отношении: он считал, что цвет можно нарисовать; принуждая себя доказывать его неправоту, она многое постигла.

Все трое сели: Дэвид в кресло, девушки — напротив него на диван. Он выяснил новые подробности о них — об их семьях, об их дружбе. О Генри и о жизни в Котминэ никто, по молчаливому согласию, уже не упоминал. Самой разговорчивой снова стала Уродка. Смешно рассказала об ужасном изуверстве своих родителей, о бунтарских выходках братьев и младшей сестры, о кошмарном детстве и юности на задворках Актона. Мышь говорила о своих родных не так охотно. Из ее слов можно было понять, что она — единственный ребенок в семье, ее отец — владелец и управляющий небольшого машиностроительного завода в Суиндоне. У матери — «артистические» наклонности, и она — в качестве хобби — держит антикварный магазин в Хенгерфорде. У них там потрясающий дом, вставила Уродка. Георгианский. Такой шикарный. Дэвид заключил, что родители Мыши — довольно состоятельные люди, что они слишком интеллигентны и не принадлежат к числу закоснелых провинциалов и что она не желает о них распространяться.

Наступила пауза. Дэвид подыскивал слова, чтобы незаметно перевести разговор на настоящее и будущее, но в это время Уродка вскочила с дивана и, подойдя к нему, сказала:

— Я иду спать, Дэвид. А вам не обязательно. Ди — птичка ночная.

Она послала ему воздушный поцелуй и ушла. Это было так

неожиданно, так неприкрыто, что он растерялся. Девушка, с которой его оставили, не смотрела на него; она тоже понимала, что уход Энн — слишком уж откровенная инсценировка. Он спросил:

— Устали?

— Если вы не устали, то и я нет. — После неловкого молчания она тихо добавила: — Генри снятся кошмары. Одна из нас обычно спит в его комнате.

Он откинулся на спинку кресла.

— Как же он до вас-то существовал?

— Последняя подруга ушла от него два года назад. Шведка. Предала его. Ради денег. Я толком не знаю, сам он об этом никогда не рассказывает. Матильда говорит, что из-за денег.

— Значит, какое-то время справлялся один?

Она поняла намек. С едва заметной улыбкой ответила:

— В прошлом году он мало работал. Ему действительно нужна помощь в мастерской.

— И, насколько я понимаю, он эту помощь будет получать и в дальнейшем? — Это было скорее утверждение, чем вопрос, и Мышь опустила глаза.

— Энн успела вам рассказать.

— Немного. Но если...

— Нет, мне просто...

Она переменила позу и, подобрав босые ноги под себя, привалилась спиной к подлокотнику дивана. Пальцы ее теребили пуговицу на черной рубашке. Рубашка была из необработанного шелка, с легким блеском, по манжетам и воротнику шла тонкая золотая кайма.

— Что она вам сказала?

— Сказала, что обеспокоена.

Она долго молчала, потом, понизив голос, спросила:

— Тем, что Генри хочет на мне жениться?

— Да.

— Вас это удивило?

Дэвид ответил не сразу:

— Немного.

Она понимающе кивнула.

— Я еще не решила. — Она пожала плечами. — Когда женщина делает все, что делала бы жена...

— А может, как раз наоборот?

— Я нужна ему.

— Я не совсем это имел в виду.

Мышь промолчала. Он почувствовал, что в ней снова, как тогда, после сбора ежевики, идет внутренняя борьба: и хочется поговорить, и боязно. Но на этот раз она решила быть более откровенной.

— Очень трудно объяснить это, Дэвид. Конечно, я не могу любить его физически. И прекрасно сознаю, что и его любовь — это в значительной степени обычное проявление эгоизма. Желание свалить на кого-то свои житейские заботы. Но ему, по правде говоря, уже надоело разыгрывать из себя такого беспутного старого чудака. Он только для посторонних такой. На самом же деле он — довольно одинокий и напуганный старик. Не думаю, что он будет продолжать писать, если я уеду. Мой отъезд убил бы его. Возможно, даже в буквальном смысле.

— А почему вопрос стоит так: либо замуж, либо уезжать?

— Он так не стоит. Я просто чувствую, что не могу бросить его сейчас. Ну не все ли мне равно? Тем более раз это приносит ему счастье.

Мышь, потупившись немного, продолжала крутить пуговицу. Своим видом она слегка напоминала провинившегося ребенка. Он посмотрел на ее изысканную, нарочито небрежную прическу, на голые лодыжки и ступни. Она села и обхватила руками колени.

— Энн сказала также, что вы боитесь, как бы кто не подумал, что вы рассчитываете на его деньги.

— Я боюсь не людской молвы. А того вреда, который могут причинить эти деньги мне, — возразила Мышь. — Ведь он же прекрасно знает, чего стоит его коллекция. Брак после его смерти будет передан Маакту. Но и без него много останется. Я хочу сказать: непомерно большие деньги. В смысле вознаграждения. И он это понимает.

— А какой вред они могут вам причинить?

Она криво усмехнулась.

— Я хочу стать живописцем. А не набитой деньгами вдовой. — И тихо добавила: — Бог с ним, с Котминэ.

— Легенды о гениальных художниках, ютящихся на чердаках, нынче не в моде.

— Никакой борьбы?

— Я сам не понимаю, на чьей стороне в этом споре я стою.

Она опять улыбнулась, продолжая избегать его взгляда.

— Мне всего двадцать три года. Думаю, в таком возрасте рано еще утверждать, что тебе никогда не захочется жить в другом месте. И жить как-то иначе.

— А вы подвержены искушениям?

Она ответила не сразу.

— Этот огромный мир за пределами усадьбы. Я даже в Ренн стараюсь больше не ездить. Эти автомобили. Люди. Происшествия. Мои родители, я просто должна скоро поехать домой и повидать их. Все откладываю. Абсурд какой-то. Словно меня околдовали. Я даже вашего приезда боялась. Я действительно в восторге от вашей выставки. И все-таки настроила себя недружелюбно по отношению к вам. Только потому, что вы — оттуда, что можете расстроить меня и... вы понимаете.

Она оставила одну из своих картин на стене над диваном. Дэвид понимал, что это не из тщеславия. Теперь он уже несколько не сомневался в правоте Энн: ее холодная самоуверенность в первый вечер, как и равнодушие, которое она выказала при первом знакомстве, — всего лишь поза. Картина, оставленная на стене, служила как бы напоминанием о том, что между ними есть нечто общее, и сознание этой общности росло. Его уже не угнетали паузы, возникавшие в их разговоре.

— Ваши родители знают о том, что здесь происходит?

— Не все... но они не такие, как у Энн. Им я могла бы объяснить. — Она пожала плечами. — Так что вопрос не в этом. Угнетает сама мысль о расставании с этим лесным мирком. Где все почему-то кажется возможным. Я просто боюсь решиться. На что-нибудь. — Послышался слабый шорох: ночная бабочка билась об абажур лампы. Диана взглянула на нее и снова опустила глаза. — И потом возникает вопрос, может ли человек стать пристойным художником и одновременно... вести нормальную жизнь.

— Вы не станете писать лучше, если будете вести ненормальную жизнь.

— Делать то, чего от меня хотят другие.

— Нет. Вы должны делать то, что вы считаете нужным. А все другие пусть идут к чертям.

— Я не знаю, как отступить. В этом моя беда. Никогда не останавливаюсь на полдороге.

— А вот колледж бросили.

— Случай с колледжем — совсем не в моем характере. Вы не представляете. Пыталась доказать, что я — это не я. А попала из огня да в полымя. Сейчас мне даже хуже, чем было.

Она задумчиво смотрела на свои колени. Комната освещалась только лампой, стоявшей за ее спиной на полу. Дэвид почти не отрывал глаз от ее затененного профиля. Их окружало ночное безмолвие, точно они были одни в этом доме и во всей вселенной. Он чувствовал, что зашел дальше, чем предполагал, в область неведомого и непредсказуемого; и в то же время

все казалось странно закономерным. Это должно было случиться, для этого были причины — пусть слишком несущественные, слишком неумовимые, чтобы их можно было предвидеть и теперь подвергнуть анализу.

— Ваш... роман скверно кончился?

— Да.

— По его вине?

— В сущности, нет. Я слишком многого от него ждала. Он завистлив, не мог вынести, когда меня приняли в колледж.

— Энн мне рассказывала. — Дэвид помолчал, потом добавил: — Не очень-то я помогаю беседе.

— Ну что вы. Наоборот.

— Говорю банальности.

— Это не так.

И снова тишина; казалось, они в лесу, где невидимые птицы нет-нет да и заведут свои трели, непрерывно перелетая с места на место. Она сказала:

— Энн обладает замечательной способностью к самоотречению. Никогда не вешает носа. Придет время, найдется человек, который оценит ее по достоинству. При всех ее странностях.

— Что будет, если она оставит вас здесь одну?

— Об этом я стараюсь не думать.

— Почему?

Опять она ответила не сразу.

— Энн — последняя ниточка, связывающая меня... с реальным миром? — И добавила: — Знаю, я пользуюсь ею. Ее привязанностью. Ее неустроенностью. Вечная студентка. — Диана погладила ладонью спинку дивана. — Иногда я начинаю сомневаться, есть ли у меня вообще призвание.

Она высказала вслух то, о чем в течение предшествующего дня не раз задумывался сам Дэвид. Он видел, что ее стремление принизить себя, показать, что она хуже подруги, имеет под собой почву. Видимо, физическая сторона ее отношений с Генри была глубоко противна ее «невинной» натуре. В этом смысле она считала себя порочнее Энн. В то же время ее по-настоящему угнетало отсутствие нормальных отношений, чувство самки, требовавшей...

Он мягко заметил:

— Случай безнадежный. Если я вправе судить.

— Несерьезная я. Мы даже говорили с ней на эту тему. Мы...

— Мне кажется, эта ваша удивительная честность по отношению к себе чревата опасностью. Понимаете? Надо дать волю интуиции.

— Не очень-то я верю в свою интуицию.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что я росла единственным ребенком в семье. Не с кем было себя сравнивать. Плохо понимала своих сверстников. Так именно и случилось у меня сначала с Энн. Мы жили под одной крышей, но в течение многих месяцев я относилась к ней с неприязнью, считая ее обыкновенной потаскушкой. Но вот однажды зашла к ней в комнату попросить чего-то и застала в слезах. Что-то стряслось с ее сестрой, неприятность в семье. Мы разговорились. Она мне все о себе рассказала. И больше мы уже не вспоминали старое. — Диана помолчала. — А вот с Томом — наоборот. Сначала я пожалела его. В глубине души он был ужасно неуверен в себе. Так бывает. В одном случае отворачиваешься от человека с золотым сердцем, а в другом — отдаешься душой и телом тому, кто этого не заслуживает. Потом я сделала еще одну попытку. После Тома. В колледже. Сошлась с одним первокурсником. Славный парень, но... ему нужна была только постель. Как спасение от одиночества.

— Может быть, вы слишком многого требуете.

— Ищу человека, который бы понял меня?

— Это нелегко. Тем более если вы прячетесь.

Она покачала головой.

— Возможно, я и не хочу, чтобы меня поняли. Сама не знаю.

Диана опять умолкла. Уставилась на свою юбку. Теперь, когда она обнажила перед ним свою душу, он вспомнил ее физическую наготу на пляже и понял, что надобность в словах быстро исчезает, что никакие слова, даже самые искренние и теплые, не могут заменить то, чего требует обстановка. У лампы снова забилась бабочка. Такие же бабочки облепили снаружи окно; эти неразумные хрупкие серовато-коричневые существа силились совершить невозможное. Психеи. Жестокость стекла: прозрачно, как воздух, и непробиваемо, как сталь. Диана сказала:

— Я так опасюсь незнакомых людей. На днях в Ренне к нам с Энн пристали два студента-юриста. Она вам говорила?

Она посмотрела на него, и он покачал головой.

— Ужасно боялась, что они узнают про Котминэ. Что захотят приехать сюда. Как будто я девственница. Или монашка. Вот так. Познакомишься с людьми, а потом начинаются осложнения. Впрочем, я, может быть, сама все усложняю.

Дэвид сдержал улыбку: она сама себя опровергала. Возможно, она это почувствовала.

— О присутствующих я не говорю.

Он тихо сказал:

— Вряд ли я — исключение.

Диана кивнула, но промолчала. Она словно застыла на диване, не в силах оторвать глаз от своих рук и перевести взгляд на него.

— Мне хотелось познакомиться с вами. В ноябре прошлого года. После выставки. Подойти к вам и поговорить о своей работе.

Он подался вперед.

— Так почему же... это ведь так легко было устроить. (Из беседы с Дианой в лесу Дэвид выяснил, что ее преподаватель в колледже — его знакомый.)

Она слабо улыбнулась.

— Да все потому же. Даже здесь вы узнали об этом только сейчас. И еще потому, что мне уже пришлось один раз войти непрошенной в жизнь преуспевающего живописца.

Он вдруг представил себе, что могло бы тогда случиться; достаточно было ее слова, одного телефонного звонка — и встреча могла бы состояться. А что потом? Та же история, только не в Котминэ, а в Лондоне? Этого он не знал. Знал только, что в данную минуту опасность становилась все более реальной и, видимо, неотвратимой. Теперь, узнав ее ближе, он понял, почему она не сказала тогда своего слова. Причиной была не столько робость, сколько самолюбие. В каталоге выставки была напечатана его фотография; там же упоминалось, что он женат и имеет детей. Возможно, и это сыграло роль. Уже тогда она боялась возможных осложнений. Один из способов избежать осложнений — не рисковать совсем.

— Жалеете, что не встретились тогда со мной?

— Теперь уж поздно жалеть.

Снова наступило молчание. Она наклонилась вперед и уткнулась лбом в колени. Несколько мгновений он боялся, что она заплачет. Но она вдруг встрепенулась, словно отгоняя от себя мрачные мысли, сняла ноги с дивана, встала и подошла к рабочему столу. Нагнув голову, взглянула на папку, потом вперила взгляд в ночную тьму за окном.

— Извините. Вы ехали сюда совсем не за этим.

— Мне ужасно хочется помочь вам.

Она принялась завязывать тесемки папки.

— Вы уже помогли. Больше, чем вам кажется.

— Вряд ли.

С минуту или две она молчала.

— Что, по-вашему, я должна предпринять?

Он помедлил и улыбнулся.

— Найти кого-нибудь вроде меня? Неженатого? Если не считаете, что это совершенно безнадежно.

Завязав бантиком последнюю пару тесемок на папке, она спросила:

— А Генри?

— Даже Рембрандту не позволено губить чью-либо жизнь.

— Боюсь, что она уже загублена.

— Это говорите не вы. Это ваша жалость к себе говорит.

— Малодушие.

— Малодушие — тоже не вы. — Дэвид обратил внимание, что она опять повернулась лицом к окну. — Я знаю, что он страшно боится потерять вас. Сам мне сказал. Перед ужином. Но ведь он всю жизнь теряет женщин. Мне кажется, он перенесет это легче, чем вы думаете. К тому же мы могли бы как-то смягчить удар. Ну, хотя бы найти еще кого-нибудь, кто помогал бы ему в мастерской.

В эту минуту он чувствовал себя предателем; но предавал он ради ее же пользы. Она положила папку обратно на полку, передвинула деревянный стул ближе к середине стола. Не снимая рук со спинки стула, отвернула от Дэвида лицо.

— Это не безнадежно, Дэвид. Но где я найду такого человека?

— Вы знаете ответ на этот вопрос.

— Боюсь, что в колледж меня уже не возьмут.

— Мне не составит труда выяснить. По возвращении.

Она отошла от стола и встала за диваном. Посмотрела оттуда на него.

— Могу я вам написать? Если я...

— У Генри есть мой адрес. В любое время. Совершенно серьезно.

Она опустила глаза. Он понимал, что ему тоже следует встать; принявшись завязывать тесемки на папке, она как бы намекала ему на то, что беседа подошла к концу, уже поздно, потому она больше и не садилась. В то же время он сознавал, что она не хочет, чтобы он уходил, да и сам он этого не хотел; что сейчас, как никогда раньше, настоящая правда остается невысказанной, скрытой за ширмой искренности и игры в наставника и студентку. Притворство и недомолвки, не до конца выраженное взаимное чувство носились в воздухе, о них говорили и ее фигура, темневшая против света лампы, и их молчание, и вид кровати в углу, и сотни призраков, бродящих по комнатам старого дома. Его удивило, что это чувство пришло так быстро... как будто выросло само собой, без его участия. Оно рвалось наружу, несмотря на преграды, стремилось освободить правду от покрыва условностей. Он желал этой правды, искал оправдания желанию, угадывал

мысли девушки, забегаая вперед, предвосхищая — физически и психологически — близость с ней. Сознание того, что завтрашний день не за горами, что скоро все это кончится, становилось невыносимым. Он не мог не цепляться за это чувство, хотя ему было стыдно, ибо он сознавал, что в чем-то потерял лицо, был изобличен, как голый король. Он пробормотал:

— Мне пора уходить.

Она улыбнулась ему простой, естественной улыбкой, как бы давая понять, что он многое напридумывал.

— У меня привычка гулять по саду. Как у Мод. Перед сном.

— Это — приглашение?

— Обещаю: о себе — больше ни слова.

Затаенное напряжение исчезло. Она подошла к шкафу, вытащила из него вязаную кофту и вернулась, на ходу надевая ее, высвобождая пучок волос сзади. Улыбающаяся, почти веселая.

— Ботинки у вас не промокают? Вечерами там обильная роса.

— Все в порядке.

Они молча спустились по лестнице к двери в сад. Парадным ходом решили не пользоваться из опасения, что Макмиллан поднимет шум. Дэвид подождал, пока она наденет сапоги, потом они вышли из дома. В тумане над крышей всходила почти полная луна; бледно мерцали звезды, ярко сверкала какая-то планета. Одно из окон было освещено лампочкой, горевшей в коридоре напротив комнаты Генри. Они прошли по траве, потом пересекли дворик и миновали мастерскую старика. Ворота в дальнем конце дворика вели в небольшой фруктовый сад. За ними, между деревьями, тянулась подстриженная травяная аллея, а вдали чернела стена леса. Роса усеяла траву жемчужными каплями. Но воздух был теплый, неподвижный. Один из последних летних вечеров. Призрачные яблони, лишенные цвета. Стрекот сверчков. Дэвид украдкой взглянул на девушку; та шла, глядя себе под ноги, — молчаливая, верная данному обещанию. Но он уже не терялся в догадках. Вот она, невысказанная правда. Он ощущал ее каждым нервом, каждым нервным волокном. И сделал свой ход: нарушил молчание.

— Мне кажется, что я здесь уже месяц.

— Это на вас колдовство подействовало.

— Вы так думаете?

— Все эти легенды. Я уже не смеюсь над ними.

Они разговаривали почти шепотом, как воры, стараясь не встревожить невидимого пса. Ему хотелось взять ее за руку.

Последнее усилие воли, чтоб удержаться от сближения.

— Он еще придет. Странствующий рыцарь.

— Всего на два дня. А потом уйдет.

Правда высказана. А они продолжали идти, словно и не было ничего сказано, по крайней мере еще пять секунд.

— Диана, я не отважусь вам ответить.

— Я и не ждала ответа.

Он держал руки в карманах пиджака и упрямо шагал вперед.

— Если бы у человека было две параллельных жизни...

Она прошептала:

— Миражи. — Потом: — Просто дело в том, что мы — в Котминэ.

— Где, оказывается, не все возможно. — И добавил: — Увы.

— Вы так взбудоражили мое воображение. Когда я узнала, что вы сюда едете. Одного не ожидала: что не захочу с вами расстаться.

— Так же как я.

— Если бы приехали не один, все было бы иначе.

— Да.

Снова он испытал это странное чувство, будто исчезло время и исчезли границы возможного; ощущение, словно ты очутился в мире колдовства и легенд. Он продолжал ловить себя на том, что в мыслях своих забегает вперед.

И подумал о Бет: спит, наверно, у себя в Блэкхите, совсем в другом мире. Он был абсолютно уверен, что рядом с ней сейчас нет другого мужчины, и это чувство уверенности было ему дороже всего. Наивная мысль: если он сам способен изменить, то почему не способна она? Это было бы нелогично. Не отказывает же себе каждый из них в других удовольствиях: во вкусном обеде, в покупке нарядов, в посещении выставки. Они даже не осуждают своих друзей за то, что те проповедуют сексуальную свободу. Если они и выступают против чего-либо, так это против канонизации нравственных норм. Супружеская верность или неверность — это дело вкуса; так же, как делом вкуса может быть пристрастие к тем или иным кушаньям или к тканям, которые они вместе выбирают для штор. Или — кто на что и с кем живет. Так почему сейчас — исключение? Отчего не воспользоваться благоприятным случаем, не подчиниться зову артистической души? Не внести разнообразие в ее унылую жизнь со стариком? Бери, что можешь взять. Хотя этого и мало: немного тепла, объятие, близость двух тел. Мгновенное облегчение. И ужасное протрезвление, сознание огромной утраты — утраты того, что ты так кропотливо создавал.

Дойдя до конца сада, они остановились у ворот. За ними виднелась темная лесная дорога. Она сказала:

— Это я виновата. Я...

— Вы?

— Сказки. О спящих принцессах.

— Их-то страдания кончались свадьбой.

Дэвид подумал: а устоял ли бы перед соблазном хоть один порядочный принц только потому, что не верил в возможность венчания? Диана ждала — она не сказала больше ни слова, вернее же, все сказала своим молчанием. Перед тобой уже нет преград. Если хочешь.

Он предполагал ограничиться быстрым поцелуем. Но едва коснувшись губами ее губ и ощутив теплоту ее тела, когда она обняла его, понял, что это не будет быстрым поцелуем. Всякая надежда на то, что дело обойдется без эротики, исчезла. Ее влекло к нему физически, а не только эмоционально; такое же безрассудное влечение испытывал и он. Они прислонились к калитке, Диана судорожно прижалась к нему. Он чувствовал ее бедра, язык, все ее тело, которое она предлагала ему, и не противился. Она первая прервала поцелуй и, резко отвернув лицо, уткнулась головой ему в шею. Они все еще не выпускали друг друга из объятий. Он поцеловал ее в темя. Так они простояли, не проронив ни звука, с минуту. Он гладил ее по спине, вглядываясь в ночную тьму сада; ему чудилось, что на его месте стоит кто-то другой, сам же он смотрит на этого человека со стороны. Наконец, она осторожно отстранилась от него и, понунив голову, стала лицом к калитке, спиной к нему. Он обнял ее за плечи, привлек к себе и снова поцеловал в волосы.

— Простите меня.

— Я сама этого хотела.

— Не только за это. За все.

Она сказала:

— Неужели это настоящее? Ведь есть же чувство.

— Есть.

Они помолчали.

— Все время, пока мы разговаривали, я думала: если он захочет ко мне в постель, я соглашусь, и этим все решится. Я буду знать. Казалось, ничего нет проще.

— Если бы это было возможно.

— Слишком много этих «если бы». Какая ирония. Читаешь о Тристане и Изольде. Лежат в лесу, а между ними — меч. Полоумные средневековые люди. Вся эта болтовня о целомудрии. А потом...

Она высвободилась из его объятий и, отойдя на несколько шагов в сторону, стала у столба в ограде.

— Прошу вас, не плачьте.

— Не обращайтесь внимания, Дэвид. Сейчас справлюсь. Пожалуйста, не извиняйтесь передо мной. Я все понимаю.

Он подыскивал слова — и не находил их; или находил, но они ничего не объясняли. Мысли его опять смешались: он думал уже не о сексе, не о том, что она ему нравится, а о том, что приоткрыло ему на миг одно ее слово... И тут вдруг он вспомнил шедевр Пизанелло, который однажды анализировал, не величайший, но, пожалуй, самый интересный и загадочный во всем европейском искусстве, — они случайно заговорили в тот вечер о нем со стариком, заговорили о главном в этой картине: святом покровителе рыцарства с совершенно отрешенным, потерянным взглядом и бесконечно возмущенном взгляде жертвы — принцессы Трапезундской, которую ему предстоит спасти. Сейчас у нее было лицо Бет. И Дэвиду открылось то, что раньше ускользало от него.

Тоненькая фигурка девушки, застывшей при виде повернувшегося дракона, слабая улыбка на ее лице. Она протянула руку.

— Сделаем вид, что ничего не случилось?

Он взял ее за руку, и они пошли обратно в дом.

— Я мог бы столько сказать, — пробормотал он.

— Знаю.

Она стиснула его ладонь: не надо ничего говорить. Их пальцы сплелись в крепкий узел, словно боялись, что их разнимут, оторвут друг от друга; словно понимали, какие глупцы эти смертные или, во всяком случае, как глупы их смертные желания и их смертные слова. Он снова представил себе ее обнаженную фигуру, все изгибы ее тела, когда она лежала на траве; ощутил ее губы, их податливость. Ловушка брака, когда физические влечение переходит в привязанность; знакомые переживания, знакомые игры, безопасное для обоих познание искусства и науки; когда забываешь свое отчаянное невежество и дикое желание познать. Отдаться. Взять.

Ему пришлось выпустить ее руку, чтобы открыть и закрыть калитку из сада во дворик. Засов издал тихий металлический звук, где-то у фасада дома залаял Макмиллан. Он снова взял ее за руку. Когда они молча проходили мимо мастерской, он увидел сквозь северное окно длинную черную тень незаконченного полотна «Кермесса». Потом — снова сад. Недоверчивый пес-неврастеник продолжал лаять. Они подошли к дому и вошли внутрь. Она высвободила руку, нагнулась и сняла сапоги. Сверху сюда проникал слабый свет лампочки. Она выпрямилась, и он попытался

разглядеть в полумраке ее глаза. Он сказал:

— Это ничего не решит. Но все же я хочу к вам в постель. Можно?
Она долго смотрела на него, потом потупилась и покачала головой.

— Почему нет?

— Странствующие рыцари не должны лишаться своих доспехов.

— И их фальшивого блеска?

— Я не сказала, что он фальшивый.

— Как самоочищение.

— Я не желаю очищаться.

Он высказал вслух то, что, как ему казалось, скрывалось за судорожным сплетением пальцев и ее молчанием. Обладание телом значит больше, чем слова; то, что происходит сейчас, значит больше, чем то, что может произойти завтра или послезавтра. Он сказал:

— Вы же знаете, что это не просто для того...

— Вот из-за этого тоже.

Он все еще не понимал.

— Оттого, что я не решился сразу?

Она покачала головой и посмотрела ему в глаза.

— Я вас никогда не забуду. И эти два дня.

Она неожиданно шагнула и схватила его за руки, чтобы не дать ему обнять себя. В тот же миг он почувствовал прикосновение ее губ к своим губам; затем она направилась к лестнице. Поставив ногу на ступеньку, обернулась — Дэвид шел за ней — и стала подниматься дальше. Миновала комнату Генри и пошла, не оглядываясь, дальше по коридору. У двери его комнаты остановилась спиной к нему.

— Дайте мне хотя бы обнять вас.

— Будет только хуже.

— Но всего час тому назад вы...

— Час тому назад это были не вы. И я была другая.

— Но те, другие, были правы.

Она бросила взгляд в конец коридора.

— Где вы будете завтра в это время, Дэвид?

— Я все же хочу к вам, Диана.

— Из жалости.

— Я не могу без вас.

— Переспать и забыть?

— Зачем так жестоко? — спросил он с обидой.

— Потому что мы не животные.

— Раз не животные, то у нас и будет иначе.

— Будет еще хуже. Это не забудется.

Он подошел и положил руки ей на плечи.

— Послушайте, все эти осложнения — одни слова. Я хочу раздеть вас и...

На один короткий миг ему показалось, что он нашел ответ. Где-то в глубине души она еще колебалась. Его сводили с ума ее близость, ее молчание, их никем не нарушаемое уединение; несколько шагов до ее комнаты, а там — полумрак, торопливое сбрасывание одежды, обладание, облегчение...

Не поворачиваясь к нему, она быстро сжала его правую руку, лежавшую на его плече. И пошла прочь. Не веря очевидному, он в отчаянии прошептал ее имя. Но она продолжала идти. Он хотел догнать ее, но не смог пошевелиться, словно рок пригвоздил его к полу. Вот она вошла к себе в комнату и закрыла за собой дверь, оставив его одного — измученного, опустошенного, бесцеремонно отвергнутого уже после того, как он принял важное решение. Он шагнул за порог своей комнаты и остановился в полумраке, взбешенный сознанием упущенной возможности; взглянув в старое зеркало в золотой раме, увидел смутные очертания своего лица. Призрак, не человек.

Весь ужас заключался в том, что он все еще чего-то ждал, что-то предвкушал, в чем-то хотел разобраться. Такие психические явления изредка бывают: читаешь о них, рисуешь в своем воображении — и не замечаешь, когда они в конце концов становятся фактом. Одна частица его существа силилась преуменьшить неудачу, истолковать ее всего лишь как отказ капризной женщины; другая ощущала всю остроту и огромность утраты — им пренебрегли, с ним расправились, безмерно обидели... и обманули. Дэвид сгорал от желания — и понимал, что момент упущен; его невыносимо жгло то, что на самом деле не существует, мучило чувство, которое до сих пор казалось ему таким же анахронизмом, как давно вымершие дронты⁴³. Он сейчас понимал: происшедшее с ним — куда больше чем просто интрижка; это нечто противоречащее логике, процесс, порождающий из ничего новые солнца, новые эволюции, новые вселенные. Это что-то метафизическое, существующее помимо девушки; страдание, жизнь, лишенная свободы, истинную природу которой он только что постиг.

Впервые он познал нечто выходящее за рамки существования — страстное желание жить.

А пока — здесь, сейчас — его охватило неодолимое мстительное чувство, желание наказать себя, девушку, находившуюся так близко, и Бет,

находившуюся так далеко, в ночном Лондоне. То слово, которое она употребила... он снова увидел ее сидящей на диване, понуро стоящей у садовой калитки, ее лицо в полутемном холле... невыносимо, невыносимо, невыносимо.

Дэвид вернулся в коридор, бросил взгляд на дверь комнаты Генри и пошел в противоположную сторону. Он не стал стучать и попробовал войти так — дверь не подавалась. Он снова нажал на ручку и выждал несколько секунд. Потом постучал. Никто не отозвался.

Проснулся он от звука открываемой двери, которую оставил на ночь незапертой. Часы показывали четверть девятого. К постели подошла Уродка и, когда он сел, протянула ему стакан апельсинового сока. Несколько мгновений он приходил в себя; потом вспомнил.

— К вам с ранним визитом, Ваша светлость.

— Благодарю, — сказал он и отпил большой глоток сока.

На ней были джемпер с высоким воротом и юбка до колен, что придавало ей непривычный деловой вид. Она пристально посмотрела на него, потом неожиданно присела у него в ногах. В руке у нее был вырванный из блокнота листок бумаги. Она вслух прочла: «Передай Генри, что я уехала за покупками. Вернусь после ленча». Она перевела взгляд на стену возле двери, старательно избегая смотреть Дэвиду в глаза, и терпеливо ждала его объяснений.

— Ее уже нет?

— Похоже, что да, не правда ли? — Не дождавшись от него ответа, Уродка продолжала: — Так что же произошло?

Он помолчал в нерешительности, потом ответил:

— Что-то вроде размолвки.

— Так. Из-за чего?

— Пусть она сама вам расскажет.

Но на Уродку его грубоватый тон явно не действовал.

— Вы разговаривали? Просто любопытно знать, почему она так спешно уехала.

— Ясно почему. Не хотела видеть меня.

— Но почему, черт побери? — Уродка бросила на него укоризненный взгляд. — После вчерашнего. Я же не слепая. Обычно Ди дичится незнакомцев. Только чудо может заставить ее открыться.

— Я это так и понял.

— А вы поговорили — и все. — Уродка снова кольнула его взглядом. — Как это низко с вашей стороны, честное слово. Дело тут

совсем не в сексе, я же знаю. Ей хороший мужик нужен. Только один. Чтобы он мог сказать ей, что с ней все в порядке, все у нее в норме, что она возбуждает мужчин.

— По-моему, она и сама это знает.

— Тогда почему же она сбежала?

— Потому что нам нечего больше друг другу сказать.

— А вы не могли забыть про ваши чертовы принципы хотя бы на одну ночь.

Он произнес, обращаясь к стакану в руке:

У вас превратное мнение обо мне.

Она пристально посмотрела на него, потом стукнула себя ладонью по лбу.

— О господи. Не может быть. Она не...

— Не захотела, — пробормотал он.

Она наклонилась вперед и взялась руками за голову.

— Сдаюсь.

— Не надо сдаваться. Вы ей нужны сейчас. Более чем когда-либо.

Она выпрямилась, посмотрела на него с кривой усмешкой, тронула рукой его ногу под одеялом.

— Извините. Мне следовало самой догадаться.

Она встала с кровати и подошла к окну. Открыла ставни и долго смотрела во дворик. Не поворачивая головы, спросила:

— А старик Генри?

— Все по-прежнему.

— Значит, мне это не привиделось?

Он лежал, опершись на локоть, глядя на простыни. Он чувствовал себя нагим в буквальном и переносном смысле и все же желал высказаться до конца.

— Не думал, что такие вещи возможны.

— Это вам Котминэ. Как в сказке. Когда впервые сюда попадаешь. А потом начинаешь понимать, что это — всего лишь дурной сон. — После долгой паузы Уродка добавила: — Господи, что за грязь, правда? — Она окинула взглядом голубое небо. — Этот старый садист... А вы казались такой хорошей парой. И нуждались друг в друге. — Она с упреком посмотрела на него. — Зря вы не воспользовались случаем, Дэвид. Хотя бы раз в жизни. Назло старому ублюдку. Хотя бы ради меня.

— Недостает нам вашей решимости, Энн. В этом все дело.

— О да, конечно. Я же умственно ограниченная.

— Чепуха, — мягко возразил он.

Она отошла от окна и стала в ногах его кровати.

— Не понравилась я вам, когда вы только что приехали?

— Первые впечатления сглаживаются.

Она испытующе заглянула ему в глаза, присмотрелась к его улыбке. Потом решительно сжала губы и взялась рукой за край джемпера. На талии, повыше юбки, обнажилось коричневое тело.

— Хотите, я заменю вам ее? По-быстрому?

Он засмеялся:

— Вы просто невозможны.

Она стала коленом на край кровати, скрестила руки, как бы готовясь снять с себя джемпер, и склонилась к нему. Ее глаза задорно блестели.

— Я знаю все приемы.

Он протянул ей пустой стакан.

— Попробую представить их себе. Когда буду бриться.

Она прижала руки к сердцу и закатила глаза. Потом выпрямилась и взяла у него стакан. Постояла глядя на него сверху вниз.

— По-моему, Ди рехнулась. — Она потормошила его за кончик носа. — А вы недурны. Хотя и врожденный святоша.

И тут последовал второй парфянский удар. Уже выйдя в коридор, она снова открыла дверь и просунула голову.

— Кстати, не могла не обратить внимания. На пляже было на что посмотреть.

Ее доброта, ее откровенность; блаженны невоспитанные. Не успели утихнуть ее шаги, как ощущение теплоты и симпатии исчезло. Дэвид лег на спину и уставился в потолок. Он силился разобраться в происшедшем, понять, где сделал ложный шаг и почему она отвергла его. Он чувствовал себя глубоко разочарованным, подавленным и потрясенным. Впереди — невыносимый день. Ее тело, ее лицо, ее душа, ее зов: она где-то там, среди деревьев, ждет его. Это невероятно, но он действительно влюбился; и если не совсем в нее, то, по крайней мере, в идею любви. Как бы он поступил, если бы она появилась сейчас в дверях и попросила его не уезжать, увезти ее отсюда? Он не знал. Наверное, горечь поражения, мысль о вечно упускаемом шансе была бы менее острой, если бы они легли в постель и она отдалась бы ему в ту короткую ночь.

Но он понимал, что и это — заблуждение. Тогда окончательное расставание было бы невозможным. Даже если бы он уехал в Париж, как должен уехать сейчас; пожалуй, откуда угодно он мог бы уехать навсегда, но отсюда... все равно им суждено было бы встретиться. Здесь или где-то еще.

Этого он избежал. Но освобождение казалось ему скорее приговором, чем помилованием.

К полудню, проехав уже около трети двухсотпятидесятимильного пути до Парижа, он все еще не пришел в себя. Машину вел по бесконечному route nationale⁴⁴ человек-автомат. Душа осталась в Котминэ. Старик в течение всего завтрака рассыпался в любезностях, уговаривал Дэвида непременно приехать еще раз вместе с женой, извинялся за свои недостатки, за старость, за «пустые разговоры», даже желал ему успеха в собственном творчестве; но все это не могло сгладить горького сознания, что, принимая формально приглашение Бресли, Дэвид разыгрывал фарс. Дорога в Котминэ ему закрыта навсегда, он никогда не сможет привезти сюда Бет. Стоя у машины, они пожали друг другу руки. Он поцеловал Энн в обе щеки и, улучив момент, шепнул ей на ухо:

— Расскажите ей... о нашем разговоре? — Она кивнула. — И поцелуйте ее за меня.

По лицу ее мелькнула сдержанная усмешка.

— Ну, до этого мы еще не докатились.

Но в ее глазах светился веселый огонек. Это был последний случай, когда ему захотелось улыбнуться.

Путешествие началось с неприятности: отъехав от ворот усадьбы всего на триста ярдов, Дэвид заметил на дороге, у самого передка машины, что-то буровато-рыжее, похожее на мышь — но слишком большое для мыши и по-змеиному гибкое — но слишком короткое для змеи. Мелькнуло и исчезло под колесами. Дэвид притормозил и оглянулся: на темном гудроне пустынной лесной дороги виднелось небольшое пятно. Любопытство, мазохизм, желание продлить минуты расставания заставили его выйти из машины и вернуться назад. Это был горностаи. Одно колесо проехало прямо по нему. Он был мертв, раздавлен. Уцелела только головка. Крошечный глаз зверька злобно глядел на Дэвида, из зияющей пасти текла струйка крови, похожая на красный цветок. Дэвид постоял немного, потом вернулся к машине. Многообещающее начало дня.

На всем протяжении пути в Ренн он надеялся, что встретит где-нибудь на обочине белый «рено» и рядом с ним — знакомую женскую фигуру. Надеялся до тех пор, пока не выехал на автостраду, огибающую город с юга. И лишь тогда с мучительной ясностью осознал, что больше уже не увидит ее. Это было похоже на возмездие — ее исчезновение сегодня утром служило тому подтверждением. Значит, вина лежит на нем. Только слишком поздно он это понял. Вспомнил разговор у садовой калитки, когда

она высвободилась из его объятий, как он отпустил ее, проявив губительную нерешительность. Даже и потом, в доме, она угадала в его поведении нечто настораживающее, внушающее недоверие к его словам. Он не оправдал ее надежд ни как современный мужчина, ни как средневековый рыцарь — жаждал физической близости и избегал ее.

В мозгу его начали рождаться фантастические сценарии. Самолет, на котором летит Бет, терпит аварию. Он никогда не был женат. Он женат, но Бет — это и есть Диана. Она выходит замуж за Генри, который вскоре умирает. Она приезжает в Лондон, не может жить без него, и он бросает Бет. И все эти истории заканчиваются в Котминэ, где в идеальной гармонии соседствуют труд, любовь и залитый лунным светом сад.

Бесплодные эти фантазии недостойны были даже юноши и лишь подтверждали его заурядность; ведь с ним произошло что-то вроде шока: хотя реальность первых нескольких минут, последовавших за ее уходом, успела отойти в мир бессознательного, он все еще недоумевал, как могло случиться такое, как это могло так сильно всколыхнуть его и расстроить и насколько же он прежде был самовлюблен. И стало так ясно, чего он лишен. Его несостоятельность заключалась в том, что он не считал возможным грех. Генри знал, что грех — это вызов жизни; не безрассудство, а акт мужества и воображения. Он грешил по необходимости и в силу инстинкта; Дэвид же не согрешил из страха. Не захотел согрешить, как выразилась Энн, назло старому ублюдку. Его мучила не цель, а средства ее достижения. Мучило не то, что думает о себе он сам, а то, что думают о нем люди. Страх перед собственным тщеславием, эгоизмом, «естеством», который ему приходится прикрывать такими понятиями, как «честность» и «непредубежденность». Вот почему он тайно и с таким удовольствием предавался самоанализу. Таким образом, предельное тщеславие (а применительно к художнику — глупость) отнюдь не кажется бесполезным. Оно объясняет, почему в собственном творчестве он так высоко ценит недосказанное, скромность изобразительных средств, стремление удовлетворить требованиям собственного критико-словесного лексикона — абсурдный прием, с помощью которого он мысленно оценивает свое произведение, когда создает его. Все это доказывает, что он боится вызова.

Но именно вызов ему и был брошен, причем вызов, далеко выходящий за сферу морального и сексуального. Теперь он уже хорошо понимал, что это было похоже на ловушку. Ты обходил явный подводный риф в первый вечер в разговоре со стариком, а дальше уже срабатывало самоослепление, зазнайство, так называемая воспитанность, желание понравиться.

Оказалось, что настоящая подводная скала поджидала его где-то далеко за пределами голубой лагуны.

Чем больше он удалялся от Котминэ, тем меньше склонен был оправдывать себя. Немного успокаивало то, что он сможет более или менее открыто смотреть Бет в глаза, но даже этот «утешительный приз» был лишь видимостью; казалось, его наградили не по заслугам. Ведь «верен»-то он лишь потому и остался, что кто-то повернул ключ в замке. Более того: даже если бы эта формальная невинность и имела для него какое-то значение, его настоящим преступлением было то, что он колебался, лавировал, уклонялся.

Котминэ было зеркалом, и жизнь, к которой он возвращался, была в нем отражена и препарирована с беспощадной ясностью... какой жалкой теперь выглядела эта жизнь, какой бесцветной и спокойной, какой безопасной. Отсутствие риска — вот в чем ее главная суть. Потому он и ехал сейчас быстрее обычного. На дорогах между городами было сравнительно мало транспорта, он располагал достаточным временем, злополучный самолет прибывал только вечером, в начале восьмого. Когда человек ничем не рискует, не принимает никаких вызовов, он превращается в робота. Секрет старика в том, что он не терпит никаких преград между собой и тем, что изображает; и дело тут не в том, какую цель преследует художник или какими техническими приемами он пользуется, а в том, насколько полно, насколько смело идет по пути постоянной переделки самого себя.

Медленно и неуклонно надвигалось на Дэвида сознание, что его вчерашняя неудача лишь символична и не затрагивает основы основ. То, что он упал в глазах молодой женщины, — тривиальный эпизод из комедии, которая именуется игрою полов. Суть же в том, что он не воспользовался — даже не попробовал воспользоваться — личной свободой в экзистенциалистском смысле. Прежде он, как художник, не сомневался в своем призвании, хотя и не все свои произведения считал безупречными с точки зрения техники исполнения, но он всегда полагал, что в нем заложены те качества, которые рано или поздно позволят ему создать непреходящие художественные ценности. Теперь же он увидел страшную картину — он в тупике, ибо он родился в период, который грядущие поколения, говоря об истории искусства, назовут «пустыней»: ведь факт же, что Констебль, Тернер, Норвичская школа выродились в середине столетия и позже в бесплодный академизм. У искусства всегда бывали взлеты и падения, и кто знает, не явится ли конец двадцатого века периодом его наибольшего упадка? Дэвид знал, как ответил бы на этот

вопрос старик: да, явится, если не будут приложены все усилия для того, чтобы развенчать наиболее восхваляемые ценности и мнимые победы.

Пожалуй, уже слово «абстракция» говорит само за себя. Художник боится, как бы его живопись не отразила его образа жизни, а возможно, этот образ жизни так дискредитировал себя, художник так старается устроиться поуютнее, что он невольно стремится замаскировать пустотелую реальность с помощью технического мастерства и хорошего вкуса. Геометрия. Безопасность, скрывающая отсутствие какого-либо содержания.

Единственное, что у старика сохранилось, это пуповина, связывающая его с прошлым. Один шаг назад, и он — рядом с Пизанелло. Духовно во всяком случае. Дэвид же углубился в книги, рассматривает искусство как общественный институт, науку, академическую дисциплину — как дело, требующее субсидий и дебатов в различных комиссиях. И это было главным объектом ярости старика. Дэвид и его сверстники, а также те, кто придет им на смену, уподобившись зверям, рожденным в неволе, будут только созерцать из своих клеток ту зеленую свободу, которой пользуется старик. Дэвид понял, что произошло с ним за истекшие два дня: точно подопытной обезьяне, ему дали возможность взглянуть на свое утраченное подлинное «я». Его ввело в заблуждение излишнее следование моде, поощряемая официально фривольность, кажущиеся свободы современного искусства; он не догадывался, что все эти свободы проистекают из глубокого разочарования, похороненного, но еще не совсем задавленного сознания несвободы. Ситуация, характерная для всей новейшей истории художественного образования в Англии. Пресловутая выставка дипломных работ, на которой студенты факультета изящных искусств ничего, кроме чистых холстов, не показали, — что может служить более убедительным свидетельством затхлого лицемерия преподавателей и безнадёжного банкротства обучаемых? Не будучи в состоянии заработать себе на жизнь искусством, человек учит других пародировать самые основы этого искусства, пытается внушить людям, будто гении рождаются за одну ночь — для этого достаточно одного эксперимента, — а не ценой многолетнего упорного труда художника-одиночки. Будто случайный мгновенный успех вроде белого кролика в цилиндре фокусника оправдывает злостный обман, которому подвергаются тысячи простаков; будто все художественное образование не опирается на прогнившую систему преподавания, превращающую искусство в неразрешимую шараду. Когда школы лгут...

Возможно, то же творится и в других видах искусства — в литературе,

музыке. Дэвид этого не знал. Он лишь испытывал душевную боль, отвращение к самому себе. Кастрация. Триумф евнуха. Он прекрасно понимал, что кроется за неуклюжими нападками старика, за его глумлением над «Герникой». Пренебрежение природой и реальностью исказило до безобразия отношения между живописцем и зрителем; ныне художник творит для интеллектуалов и теоретиков — не для людей вообще и, что хуже всего, не для себя самого. Конечно, это приносит дивиденды в материальном отношении и в смысле популярности, но пренебрежение телом человека, его естественным, чувственным восприятием привело к порочному кругу, к водовороту, к уходу в небытие; ныне живописец и критик согласны лишь в том, что существуют и имеют какое-то значение они одни. Хорошее надгробие для разного отребья, которому на всех наплевать.

Такие художники прикрываются тем, что приемлют современные течения, забывая при этом о чрезвычайно ускорившемся прогрессе и восприятии мира, забывая о том, как быстро авангардизм перерос в art roturier — дерзкое и банальное искусство. Виной всему — не только их собственный вариант абстракции, а непрерывная цепь послевоенных школ: абстрактный экспрессионизм, концептуализм, фотореализм, оп-арт и поп-арт... il faut couper la racine — пусть так. Но искусство, лишенное корней, вращающееся по орбите в мертвом космосе, не имеет смысла. Оно напоминает пеструшек, одержимых губительной гонкой за Lebensraum⁴⁵ в арктических водах, в бездонной ночи, слепых ко всему, кроме собственных иллюзий.

Башня из черного дерева.

Когда он подъезжал к Иль-де-Франсу — дорога теперь пролегла по скучному жнивью, окружающему Шартр, — небо, точно перекликаясь с его унылым настроением, покрылось тучами. Лето умерло, пришла осень, а с нею — конец зеленой растительности. Странно. И подавленное состояние у него не проходило.

Наконец он достиг предместий Парижа. Петляя по улицам, он отвлекся на некоторое время от копания в себе. В начале шестого остановился у приличной на вид гостиницы недалеко от Орли. В Париж они с Бет не собирались заезжать, решив следовать прямо в Ардеш, где находился коттедж их знакомого, а до него — еще целый день езды. Поэтому надо было где-то остановиться и передохнуть. Тем более что завтрашний день не сулил ничего хорошего. Во всех отношениях.

Он принял душ и заставил себя перечитать наброски своей вступительной статьи к книге «Искусство Генри Бресли», пока его личные

впечатления еще не утратили свежести, чтобы посмотреть, что надо изменить, что добавить, на чем сделать упор. Безнадежно. Фразы и суждения, которые всего несколько дней тому назад нравились ему... Вздор, дребедень. Банальности, профессиональный жаргон, претенциозность. За напыщенными словами вставала реальность Котминэ. Он прилег на кровать и опустил веки. Потом встал и подошел к окну. Впервые за многие годы почувствовал, что вот-вот заплачет. Абсурд, абсурд. Он погибнет, если больше не увидит ее. Он стал искать почтовую бумагу, но нигде ее не обнаружил, в гостиницах такого типа почтовой бумаги не водится, здесь останавливаются только на ночлег. Он достал из чемодана блокнот и, положив перед собой, смотрел на него, не в силах написать что-нибудь. Так бывает с художником, который трудится над картиной, зная, что она плохая, и поэтому ему хочется уйти от нее не оглядываясь и ни с кем не встречаясь.

В основе всего этого было сознание того, что он никогда не станет другим, что будет писать по-прежнему, выбросит этот день из памяти, всему придумает иное толкование, вообразит себя таким ошалелым, потерявшим голову проезжим постояльцем. Рана заживет, корка отвалится, и кожа будет гладкой, как прежде. Он стал жертвой здравого смысла, не верил по-настоящему в случай и не умел им воспользоваться. Вспоминая потом этот эпизод, он в конце концов внушит себе, что принял тогда мудрое решение, совершил благородный поступок; что пламя страсти, опалившее его, — это мечта, мимолетное видение, реальность же — еще один из его замыслов, набросок, затерявшийся в студии, в глубине шкафа среди старых альбомов с эскизами.

Так будет потом; пока же он знал, что отказался (даже если ему больше не суждено с ней повстречаться) от возможности изменить свою жизнь и что дальнейшая судьба его творчества — его качество и его способность выдержать испытание временем — зависит от признания этого факта. Он испытывал запоздалую, но жгучую зависть к старику. Дело в конечном счете сводится к тому, с чем человек родился: либо он имеет склонность к крайним проявлениям индивидуализма, к отделению мысли от чувства, либо не имеет. Дэвид ее не имел. Отвратительная, мстительная несправедливость заключалась в том, что искусство глубоко аморально. Как бы человек ни усердствовал, все равно он останется в проигрыше: все достается свиньям и ничего — тем, кто имеет заслуги. Котминэ беспощадно продемонстрировало: то, с чем он родился, при нем и останется. Он был, есть и будет порядочным человеком и вечной посредственностью.

Это определение часами, казалось, витало в воздухе, прежде чем пришло ему на ум. Стоя у окна, он пристально смотрел туда, где над мрачным морем крыш, мокрых от моросящего дождя, ему чудилась светлая полоска неба — полоска, напоминавшая о том, чем он мог бы быть.

Приехав в Орли, он узнал, что самолет опаздывает на полчаса. В Хитроу туман. Дэвид ненавидел аэропорты: равнодушные, пассажирские орды, безликость людей, ощущение опасности. Он стоял у окна в зале ожидания и вглядывался в унылую даль аэродрома. Сумерки. Казалось, Котминэ осталось где-то в другой вселенной — один день пути, равный вечности. Дэвид попробовал представить себе, что они сейчас там делают: Диана накрывает на стол, Энн занимается французским. Тишина, лес, голос старика. Лай Макмиллана. Дэвид страдал, как может страдать человек, понесший тяжелую утрату — утрату не того, чем обладал, а того, что познал. Что она говорила, что чувствовала, о чем думала. Боль, которую он испытывал, проникала в сознание глубже, чем все расспросы об искусстве, его искусстве, его личной судьбе. На несколько мучительных мгновений он очень четко представил себе собственный облик и облик всего человечества. Внутренний голос — последняя надежда на избавление, на свободную волю — побуждал его сжечь все корабли, вернуться, искать спасения в бегстве. Но на кораблях, как на великих художниках прошлого, стойких против любого пламени, лежала длинная тень. Тень молодого англичанина — неподвижного, но устремленного вперед, в сторону своего дома, всматривающегося в отдаленный ряд застывших посадочных огней.

Объявили о прибытии самолета, и он спустился вниз, чтобы встретить Бет. Ее вещи он привез с собой в машине, поэтому она вышла к нему налегке, в числе первых пассажиров. Помахала ему рукой. Он поднял руку. Новое пальто — сюрприз для него — слегка колыхалось от ее резких движений; видимо, она гордилась своей обновкой. Веселый Париж. Свободная женщина. И смотри-ка: без детей.

Она появляется с беспощадностью настоящего; на ее лице — спокойная радость; вполне естественно, что он тут, где же ему еще быть. И он придает своему лицу выражение такой же уверенности.

Она останавливается в нескольких шагах от него.

— Привет. — Она кусает губы. — А у меня на какой-то момент мелькнула страшная мысль. — Пауза. — Вдруг ты мне больше не муж.

Отрепетировано. Он улыбается.

Целует ее в губы.

Они идут рядом, говорят о детях.

Ему кажется, что он с трудом волочит ноги; вероятно, так чувствует себя человек, недавно перенесший операцию и еще не совсем пришедший в себя; в его притупленном сознании мелькает что-то неумолимо ускользающее. Очертания лица, золотистые волосы, звук закрывающейся двери. Я сама этого хотела. Как во сне: было, но не помнишь что. Захлебнувшийся крик, день, сгоревший дотла.

Она спрашивает:

— Ну, а ты, милый, как?

Он сдается тому, что осталось: абстракции.

— Уцелел.

notes

*...Он побывал в лесах глухих,
Проехал много перепутий,
Встречал немало всякой жути
И, наконец, перед собой
Увидел в дебрях путь прямой...*

Кретьен де Труа, «Ивэйн». (Перевод со старофранцузского В. Микутевича.)

Коммунальную дорогу. (*франц.*)

Усадьба Котминэ. Частная дорога (*франц.*)

4

Злая собака (*франц.*)

Длинная, до щиколоток, рубашка, какие носят в арабских странах.

Хозяйку. (франц.)

Как дома. (франц.)

Улица в Лондоне, где находятся редакции многих газет.

Букв. — ужасный ребенок, выродок. (*франц.*)

Мастерской; здесь — ткацкой фабрике. *(франц.)*

Цикл романов о легендарном короле бриттов Артуре.

Редкостью. (лат.)

Авангардистское объединение голландских архитекторов и художников, существовавшее в 1917–1931 гг.

Прием живописи, состоящий в наложении краски густым слоем.

Нанесение грунта, штукатурка, охра красная. (*итал.*)

Наречие, на котором говорят обитатели бедных кварталов Лондона.

Название картины Рубенса, основанной на легенде о молодой римлянке, которая кормила грудью заключенного в темницу отца, чтобы спасти его от смерти. Картина находится в Эрмитаже.

Правильно — Вийон. Крупнейший поэт французского средневековья, взявший фамилию своего воспитателя капеллана Вийона.

Буфету. *(франц.)*

Можно подавать, мадемуазель? (*франц.*)

Да, Матильда. Я сейчас вам помогу. *(франц.)*

Свежих овощей. (*франц.*)

Фрикадельки. (франц.)

Молочным с маслом. (*франц.*)

Засоленная. (*франц.*)

Нижней. (франц.)

Бретонской Бретани. *(франц.)*

Фактически и юридически. (лат.)

В вине. (лат.)

Имеется в виду американский художник Джексон Поллок (1912–1956) — один из главных представителей «живописи действия». Создавал картины, характеризовавшиеся не обдуманной заранее композицией.

Что он тут делает? (*франц.*)

Завтрак на траве (*франц.*) — название известной картины Мане.

Пруда. (франц.)

Уже виденным. (франц.)

Четырнадцатого века. (*итал.*)

«Вести со всего света» — хроникальный журнальчик сенсационного типа.

Наедине. (франц.)

Вранье, мистификация. (франц.)

Если б молодость знала... (*франц.*)

Деревня на полуострове Корнуэлл в Англии.

Религиозная секта.

Нарочитое. (*франц.*)

Вымершее в конце XVII в. семейство голубиных птиц.

Национальному шоссе. (*франц.*)

Жизненным пространством. (нем.)

Так, как могу. (нем.)